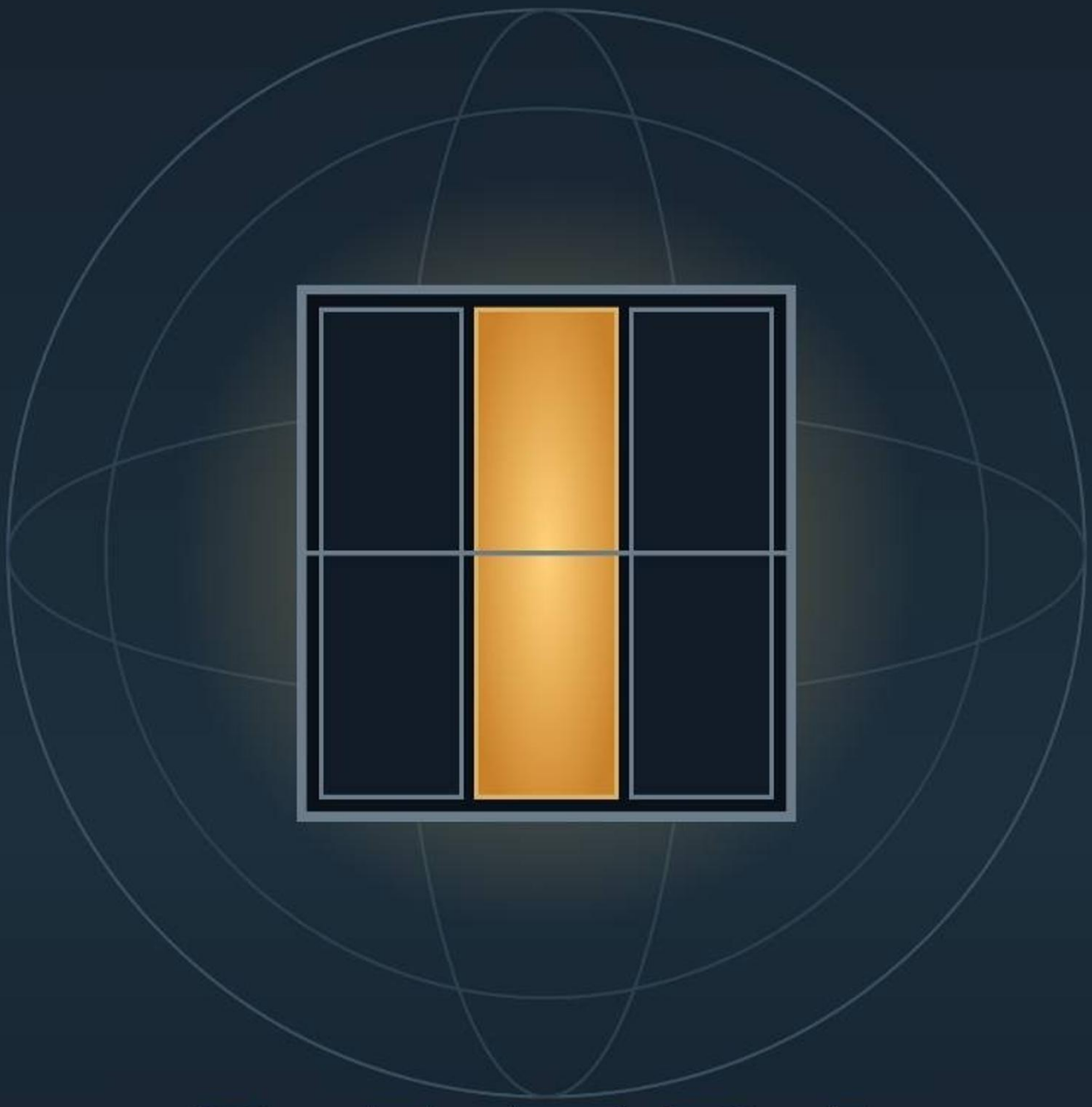
КОНСТАНТИН ПОГУДИН



СФЕРА

роман

МОСКВА · 1977–1985

Константин Погудин

СФЕРА

«Автор»
2026

Погудин К.

СФЕРА / К. Погудин — «Автор», 2026

Москва, 1977 год. В американское посольство бросают записку без подписи: неизвестный советский инженер предлагает секретные сведения и просит об одном — чтобы его не бросили. Для штаб-квартиры ЦРУ это почти наверняка провокация КГБ. Для молодого офицера московской резидентуры Дэниела Хартвелла, который должен принять решение, это начало дела, которое займёт восемь лет его жизни.«Сфера» — спокойный, документальный по духу шпионский роман без погонь и перестрелок. Вербовка, недоверие, анализ документов и цена каждой встречи на тёмной московской улице. Роман построен на реальных событиях 1977–1985 годов, а в приложении к книге для каждой главы указано, что в ней факт, а что вымысел. Здесь нет правых и виноватых: есть люди, которые делают свою работу и платят за неё.

© Погудин К., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Записка без подписи 6
Глава 2. Оценка добросовестности 11
Глава 3. Расписание ожиданий 16
Глава 4. Корм для кур 21
Глава 5. Рукавица 28
Глава 6. Смета значимости 35
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Константин Погудин
СФЕРА

Роман «Сфера» — художественное произведение. Герои и сюжетные линии вымышлены; реальные лица и события упоминаются в пределах открытых исторических источников. Что в каждой главе основано на документах, а что придумано, указано в приложении «Комментарии: факт и вымысел» и в «Исторической справке».

Глава 1. Записка без подписи

Москва, февраль 1977

Февраль в Москве не наступает, а выживает январь, как неплательщика-квартиранта: медленно, с отвратительной настойчивостью, без права апелляции.

Дэниел Хартвелл вышел из дома на Садово-Самотёчной в без десяти восемь и сразу почувствовал, как мороз берёт его за ноздри. Минус девятнадцать. Дворник в ватнике скалывал лёд с тротуара перед подъездом. В этом доме жили одни иностранцы, и скалывал он старательно, как человек, которому за это платят хорошо, но не за одно только скалывание. Хартвелл кивнул ему. Дворник кивнул в ответ, не поднимая глаз. Обычный утренний ритуал.

В доме для иностранцев, в квартире иностранца, у иностранной жены или без неё, всё, что можно было услышать, слушали. Хартвелл знал это не как факт, а как климат. О климате не думают, его просто учитывают при выборе одежды.

Он шёл к посольству пешком. Не потому, что любил ходить, а потому, что маршрут можно было менять, и в этой смене была вся его свобода. Сегодня он пошёл бульварами: мимо катка, где под лампами скользили закутанные детские фигурки, и дальше, вниз, к Новинскому. За спиной, метрах в сорока, как всегда, брёл человек в сером пальто и пыжиковой шапке. Хартвелл не оборачивался. Он давно перестал оборачиваться: наружка (так в обиходе называли сотрудников наружного наблюдения, Седьмого управления КГБ) не обижалась на невнимание, но и не поощряла любопытства.

Пятый месяц, думал он. Этого человека, или его брата, или двоюродного брата, он видел уже пятый месяц подряд. Они менялись, как караул, но Хартвелл научился узнавать не лица, а походку: носок, поставленный чуть внутрь, привычку на перекрёстках глядеть не на светофор, а на витрины. Профессиональная привычка. Он иногда ловил себя на мысли, что знает этих людей лучше, чем своих коллег по посольству.

Он был вторым секретарём по экономическим вопросам. Так сообщала его визитка, его аккредитационная карточка и его легенда. Легенда была скучной, как почти все удачные легенды: он действительно читал Госплан, действительно ходил на брифинги в Министерство внешней торговли и действительно писал в Вашингтон каждую неделю о том, что советская экономика плохо справляется с планами по зерну. Это была правда, которую он любил в себе меньше всего, потому что её же было удобнее всего держать на виду.

Слева от него вырос посольский фасад: серая коробка в десять этажей, в которой с некоторых пор нельзя было просто открыть окно. С февраля прошлого года на западной стороне стояли экранирующие сетки: мелкая металлическая вуаль на окнах, которая должна была защищать сотрудников от того, чего нельзя было ни увидеть, ни потрогать. Микроволны. Шесть лет назад Хартвелл не поверил бы, что подобное возможно. Теперь он принимал это как погоду: советская сторона, судя по всему, что-то излучала на здание с крыши соседнего дома. Зачем, оставалось предметом споров. Одни считали, что так включали подслушивающие устройства, спрятанные в стенах. Другие подозревали эксперимент. Третьи, самые осторожные, не подозревали ничего и просто заказали рулон алюминиевой фольги для спальни.

У ворот, как всегда, стояли двое милиционеров в серых шинелях с цигейковыми воротниками. Они смотрели не на людей, а на номера машин. Дипломатический номер с кодом «004» означал США. Они знали все такие номера наизусть, как маршрутку или как собственную фамилию.

Хартвелл прошёл мимо. Внутри его ждали советские служащие посольства: гардеробщица, уборщицы, телефонистки, шофёры. Все они были направлены Управлением по обслуживанию дипломатического корпуса. Все они, разумеется, были людьми с обычными судьбами и обычными зарплатами. И все, разумеется, регулярно рассказывали кому следует, кто с кем

здоровался. В этом не было ни злобы, ни тайны. Это было частью архитектуры, как лестница или лифт.

Он поднялся на седьмой этаж, а потом, минуя два пролёта, спустился по боковой лестнице туда, куда не вёл ни один указатель.

Станция (так в Управлении называли резидентуру на месте) занимала несколько помещений в защищённой части здания. Окон там не было. Не потому, что кто-то очень боялся, а потому, что окно в любом помещении, где ведётся серьёзный разговор, есть дыра, а дыры закрывают.

Шеф станции сидел за столом и читал. Это было его обычное утреннее состояние: чтение. На другом конце комнаты Лэрри Бек, молодой офицер, с которым Хартвелл делил кабинет, пытался привести в порядок картотеку и ругался на плохую бумагу. На столе у Хартвелла лежала папка. Не новая: с полосой красного карандаша по корешку. Он знал, что в ней.

— Доброе утро, Дэн, — сказал шеф, не поднимая головы. — Присядь. Пришла телеграмма из Центра.

Хартвелл сел.

Телеграмма была короткой. Штаб-квартира любила короткие телеграммы, когда имела в виду длинные вещи.

МОСКВА. ТЕМА: НЕОПОЗНАННЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ. ПО ВАШЕМУ ПЕРВОМУ СООБЩЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКА ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНЕЙ: ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВОКАЦИИ ВЫСОКА. НА ЗАПИСКИ НЕ ОТВЕЧАТЬ. ИНИЦИАТИВЫ НЕ ПРОЯВЛЯТЬ. КАНАЛЫ СВЯЗИ, УКАЗАННЫЕ АВТОРОМ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ПРОДОЛЖАТЬ ФИКСАЦИЮ ПОПЫТОК КОНТАКТА.

Хартвелл прочитал её дважды. Затем положил на стол и сказал:

— Он писал третий раз.

— Да, — сказал шеф. — Две недели назад. Мы пока не делаем из этого выводов.

— Мы делаем один вывод. Что мы ничего не делаем.

Шеф поднял глаза. Он был человеком лет пятидесяти, с лицом, которое могло бы принадлежать профессору математики или усталому шахматисту. Хартвелл уважал его и не понимал: два чувства, которые в этой профессии часто идут вместе.

— Дэн, — сказал шеф. — Тебе известно, сколько у нас было таких «добровольцев» за последние пять лет?

— Нет.

— Я тоже не знаю точно. Но те, которые не оказались подставой, можно пересчитать на пальцах одной руки. А те, которые оказались, привели к последствиям, которые мне лично не хочется перечислять.

Он замолчал. В комнате было слышно, как за стеной гудит вентиляция. Хартвелл не стал напоминать ему о Пеньковском: все в Управлении знали про Пеньковского. В 1963 году его расстреляли. И все знали, что с тех пор Москва оставалась самым дорогим городом мира для любого, кто хотел работать там по-настоящему.

— Я не предлагаю отвечать, — сказал Хартвелл. — Я предлагаю понять, что именно мы получили.

— Понять? — шеф слегка усмехнулся. — Три записки без подписи. Что тут понимать?

— Всё, — сказал Хартвелл.

Это был не бунт, но и не покорность. Шеф, подумав, придвинул к нему папку.

Хартвелл вернулся к столу и открыл её. Он знал содержимое наизусть, но привычка перечитывать документ, как следователь перечитывает протокол допроса, делала его чуть менее несчастным.

Первая записка датировалась январём. Некто остановил машину шефа на заправке (шеф ждал в очереди за бензином, это была единственная очередь в Москве, которую американские

дипломаты были вынуждены разделять с остальными) и, пока тот смотрел на счётчик, положил на сиденье сложенный лист и ушёл.

Лист был вырван из школьной тетради в клетку, из тех, что продаются в любом газетном киоске за две копейки. Почерк был печатный, аккуратный, чуть выпрямленный: почерк человека, который привык чертить, а не писать. Русский язык хорош, лишён канцелярита и лишён же той гладкости, которую так любят иностранные переводчики в попытке подражать советскому стилю. Автор писал, что готов предоставить информацию, что хочет установить контакт и что предлагает способы связи. Среди прочего (это Хартвелл отметил с особой осторожностью) в записке были схемы: подъезд к посольству, место на улице и сигнал, который можно подать, поставив машину определённым образом.

Всё это выглядело как предложение человека, который хорошо понимает, как работают такие дела. И именно это тревожило.

Вторая записка пришла в начале февраля. Мужчина вновь подошёл к шефу, на этот раз возле машины, которую тот оставил в переулке рядом с посольством. Там были высокие сугробы, заслонявшие машину от глаз милиционеров у ворот. Мужчина, видимо, учёл это. Он сказал несколько слов, положил записку и ушёл. Содержание второй повторяло первую: желание помочь, просьба о встрече.

Третья записка пришла ровно две недели назад. Автор писал, что понимает опасения американской стороны. Он писал: возможно, вы боитесь, что это провокация. Он утверждал, что нет.

Хартвелл дочитал и положил третий лист поверх первых двух.

— Лэрри, — сказал он. — Принеси чаю.

— Хорошо, — отозвался Бек. — Или кофе?

— Чаю. Крепкого.

Бек вышел. Хартвелл сидел один и смотрел на три листа школьной бумаги, пока не зарябило в глазах.

Всё дело было в третьей записке. В первых двух человек просил. В третьей он **ответил на невысказанное**. Никто из американцев не сказал ему: «мы думаем, что вы можете быть подставой». Никто не отвечал вообще. И всё же он знал, чего именно они опасаются, и счёл нужным сказать об этом первым.

Такое поведение могло означать одно из двух. Либо перед ним действительно человек, который сам прошёл через эту логику: хорошо понимает, что любой подход изнутри Советского Союза выглядит как ловушка, и пытается предугадать возражения. Либо перед ним были люди из Второго главного управления КГБ (контрразведки), которые прочитали американские страхи как открытую книгу, потому что сами их когда-то и писали.

Разница между этими двумя вариантами не определялась ни почерком, ни бумагой, ни схемами. Она определялась только временем. И, возможно, ценой.

Бек вернулся с двумя чашками. Хартвелл взял свою, не поблагодарив.

— Как думаешь, Дэн? — спросил Бек. Ему было двадцать девять, он был честен, как бывают честны люди, которые ещё не вошли в профессию. — Это они? Или он?

— Я думаю, — ответил Хартвелл, — что он очень хочет, чтобы мы поняли, что это он. Что одинаково хорошо подошло бы и тому, и другому.

— Тогда как же определить?

— Никак. Пока не ответим.

— Но Центр сказал не отвечать.

— Центр сказал не отвечать, — повторил Хартвелл. — Центр прав. Это единственное правильное решение, которое можно принять, исходя из того, что мы знаем.

Он отхлебнул чай и поморщился: слишком горячий.

— Проблема в том, — сказал он, — что есть ещё одна вещь, которую мы знаем.

— Какая?

— Если он настоящий, мы его потеряем. Если мы будем молчать достаточно долго, он найдёт другого американца, или другую страну, или просто сломается. А если он настоящий и сломается, мы никогда не узнаем, что молчали не из благоразумия, а из трусости. Потому что для истории благоразумие и трусость выглядят одинаково.

Бек молчал. Хартвелл знал, что сказал лишнее. Он слишком много говорил в последнее время, особенно тогда, когда говорить было нечего.

— Простите, — сказал он. — Это был не профессиональный вывод.

— Нет, — сказал Бек. — Но он и не неверный.

Вечером Хартвелл возвращался домой другим маршрутом. Было темно, хотя шести ещё не пробило. Мороз стал злее. Он шёл дворами, потом вдоль Садового кольца, где тяжёлые троллейбусы тащили свои усы по обледенелым проводам и выпускали синие искры. Человек в сером пальто шёл за ним в тридцати метрах. Потом, на углу, его сменил другой, в ушанке и с портфелем. Этот второй был новее, и походка у него была другой.

В кармане у Хартвелла лежало письмо. Он написал его днём, между двумя телеграммами, и не отправил. Письмо дочери Кэти, которой через месяц исполнялось девять. Письма из Москвы шли девять–двенадцать дней через дипломатическую почту, и всегда оказывалось, что новости в них устарели ровно настолько, чтобы стать неловкими. Он написал ей про снег, про катки, про то, что в Москве у детей есть ватные пальто, в которых они похожи на пингвинов. Про остальное он не написал ничего, потому что остального в письме не было.

Его бывшая жена, Ли, никогда не спрашивала, чем он занят. Это был один из её способов быть вежливой, и один из способов оставить его одного.

Он остановился у витрины гастронома. Внутри стояла очередь за чем-то неопределённым, женщины в платках и мужчины в шапках с опущенными ушами, и продавщица в несвежем халате отмеряла кому-то колбасу. На стекле был налеплен плакат: *«Выполним решения XXV съезда КПСС!»* Красные буквы, белый фон, ровные, как ряды рекрутов. Хартвелл смотрел на этот плакат дольше, чем собирался. Потом отвернулся.

Он думал о том человеке. Не о почерке и не о схемах, а о самом человеке: о том, как он стоит на заправке в январский вечер, в тёмном пальто, с листком бумаги в кармане, и ждёт машину с номером «004». О том, как у него должны дрожать руки. Или не дрожать, и это было бы хуже: значит, он уже всё решил.

Что он видит, когда смотрит на американцев? Он видит людей, которые не отвечают. Он видит стену. И всё равно возвращается: в третий раз, а возможно, и в четвёртый.

Человек не рискует жизнью ради провокации, думал Хартвелл. Но человек, которого заставили рискнуть, рискует точно так же. А те, кто заставил, рискуют только деньгами, и деньгами не своими.

Он тряхнул головой. Он перепутал: не так он учился думать.

Дома, в квартире на третьем этаже, он включил лампу, достал письмо дочери и всё-таки положил его в ящик, под стопку старых «Известий». Потом встал у окна. Внизу, на улице, на скамейке под фонарём сидел человек в ушанке и читал газету. В такой мороз. С портфелем на коленях.

Хартвелл задёрнул штору.

Ему было тридцать восемь. Он уже знал, как это бывает: сначала профессиональное сомнение, потом личное, и в какой-то момент они перестают отличаться друг от друга. Он не знал только одного: хочет ли он, чтобы человек с заправки оказался настоящим, потому что это была бы важная разведывательная возможность, или потому что это означало бы, что в этой стране есть хоть один человек, который готов поставить на карту всё.

Второе желание не было профессиональным. Оно было человеческим. И именно оно, он это ясно понимал, делало его плохим советчиком.

Он выключил лампу.

За стеной у соседей по дому (французов, насколько он знал) что-то упало и покатилось по полу. Потом наступила тишина, и в этой тишине ему показалось, что он слышит, как где-то в стенах работает чужое ухо.

Он не слышал ничего. Он просто знал, что оно там.

Глава 2. Оценка добросовестности

Москва, конец февраля – начало марта 1977

Работа над оценкой заняла у Хартвелла шесть дней и четыре пачки сигарет. Курить он начал заново в октябре, когда понял, что в Москве это единственное занятие, которое никому не нужно объяснять.

Он писал по ночам, в квартире на Садово-Самотечной, при зелёной лампе, прикрыв машинку одеялом. Не потому, что боялся шума: боялся звука. Звук печатной машинки на плёнке читается лучше, чем слова, и по ритму ударов можно, при желании, восстановить половину текста. Он знал, что в посольстве есть люди, которые этим занимаются на другой стороне. И потому писал медленно, с паузами, в манере человека, который никак не может подобрать слово. Если на другом конце кто-то и слушал, он должен был решить, что американец страдает от бессонницы и плохо пишет.

Он писал таблицу.

Не потому, что любил таблицы. Центр любил таблицы. Центр читал их так, как врач читает рентгеновский снимок: по тёмным пятнам. Хартвелл вывел на листе два столбца: «признаки подставы» и «признаки добросовестности». Против каждого признака ставил плюс, минус или вопросительный знак, и через три дня понял, что вопросительных знаков стало больше всего остального.

Подстава обычно предлагает что-нибудь немедленное. Не обещание, а образец: страницу, схему, имя. Что-то такое, что можно проверить за неделю и положить в основу доверия. Автор записок ничего подобного не предложил. Это было похоже на добросовестность. Но Центр отмечал на полях: «Именно такой расчёт сделал бы опытный противник».

Подстава назначает сроки и места, удобные для наблюдения. Автор записок предложил способ связи и сам добавил схему подъезда к посольству. Это было похоже на подставу. Но с другой стороны, на схеме были отмечены сугробы, закрывавшие машину шефа от милиционеров у ворот, а такое знание не передают, если хотят, чтобы за тобой наблюдали.

Подстава действует сверху. Нужны санкции, нужен человек, готовый сыграть роль, нужно разрешение на то, чтобы этот человек прикоснулся к настоящим секретам или хотя бы к их правдоподобной копии. Хартвелл не знал, как это решалось во Втором главном управлении: контрразведчики в Москве говорили друг с другом на языке, который он слышал только через два посредника. Но он знал, что ничего подобного не делалось без согласований, и что согласования оставляли следы.

Тут он остановился.

Следы.

Он встал, подошёл к окну, закурил и посмотрел вниз. Человек на скамейке сегодня был другой: молодой, без портфеля. Хартвелл стряхнул пепел в блюдце. Потом вернулся к столу и вытащил из папки то, что давно хотел перечитать: журналы наружного наблюдения.

Журналы вели сами. Это была часть повседневной работы: каждый офицер станции записывал, когда и где его «вели», сколько человек, как менялись смены. Каждый вечер записи сводили в общую таблицу, и раз в месяц шеф отправлял сводку Центру. Это было грязной, нудной, но необходимой работой. Через год или два в таких сводках начинала проступать картина: кого и когда считали важным, а кого нет.

Хартвелл вытащил даты: январь, начало и середина февраля. Три вечера, когда к машине шефа подходил неизвестный.

Дважды из трёх шеф был чист. Это значило, что в момент контакта и перед ним, на маршруте, который он проверял, как всегда, обычным способом, никакого наблюдения не обна-

ружено. Третий вечер оказался исключением: наружка была, но далеко, и, кажется, потеряла шефа в переулке.

Хартвелл откинулся на стуле. Мир в комнате на секунду стал очень чётким, как бывает от кофеина или от испуга.

Что это значило?

Если подходил человек из контрразведки, КГБ мог убрать наблюдение, чтобы дать контакту состояться. Логично: подставу нельзя вести под собственным присмотром, это нарушает правдоподобие.

Но если подходил настоящий доброволец, он, разумеется, выбрал бы момент, когда наблюдения нет. Он выбрал бы заправку, переулок, сугробы. Человек, который хочет остаться незамеченным, ищет слепое пятно. И шеф, как человек осторожный, как раз и оказывался слепым пятном чаще, чем другие: он знал, как уходить от слежки.

Таким образом, отсутствие наружки подтверждало обе гипотезы поровну.

Хартвелл посмотрел на лист. Затем взял карандаш и в графе «признаки» против строки «наблюдение отсутствовало» вывел значок, которого не было ни в одной инструкции: маленький круг. Не плюс, не минус, не вопрос. Круг означал: *факт есть, смысла в нём нет*.

Рядом он приписал: *«Наблюдение не различает гипотез»*.

Потом зачеркнул: слишком похоже на вывод. Центр вывода не заказывал. Центр заказывал вероятность.

На седьмой день из Вашингтона прилетел Мортон Прайс.

Официально он ехал «для консультаций по вопросам безопасности связи». Хартвелл знал, что это значит: приехал человек из той части Управления, которая в прошлом называла себя контрразведкой и теперь называла себя осторожнее.

Прайсу было за пятьдесят. Он носил тёмный костюм, который за долгие годы сел по его фигуре так же, как у других садятся привычки. Он поздоровался с шефом, потом с Хартвеллом, потом сел в углу комнаты и, пока остальные устраивались, раскрыл портфель, достал оттуда папку и положил на колени. Не читал. Просто держал.

— Это вы пишете оценку? — спросил он.

— Я, — сказал Хартвелл.

— Читал ваш предварительный набросок. — Прайс помолчал. — Хорошая работа. Слишком хорошая.

— Простите?

— Я хочу сказать, что она слишком аккуратна. В таких делах аккуратность подозрительна.

Шеф откашлялся и сделал вид, что просматривает бумаги. Хартвелл понял, что разговор будет без него в том смысле, что говорить будет Прайс, а ему предстоит слушать с выражением человека, который всё понимает.

— Я работал в штабе контрразведки с шестьдесят второго по семьдесят четвёртый, — сказал Прайс. — Под руководством человека, имя которого сейчас не принято произносить вслух. Вы, конечно, знаете, о ком я.

— Знаю.

— Хорошо. Потому что я хочу, чтобы вы знали, на чём я учился. — Он положил руки на папку. — В шестьдесят первом к нам пришёл Голицын. Помните? Он сказал: в вашей службе есть крот. Он сказал: русские будут присылать вам ложных перебежчиков, чтобы разрушить доверие к нему. Он сказал много чего. А потом, в шестьдесят четвёртом, пришёл Носенко, и Носенко был тем самым, о ком Голицын предупреждал, или не был, но мы не знали. Он провёл три года в заключении в Штатах, пока мы пытались выяснить. Три года, мистер Хартвелл. Три года человека держали в камере без окон по подозрению, которое мы до сих пор не можем

ни подтвердить, ни закрыть. А в семьдесят пятом нас вызвали в Конгресс, и всё это объявили безумием.

Он замолчал. В комнате было тихо. Хартвелл подумал, что за всю эту речь Прайс ни разу не повысил голос.

— Я не защищаю то, что делалось, — сказал Прайс. — Но я хочу, чтобы вы поняли: это не было глупостью. Это была логика. Если у противника в распоряжении неограниченное время и неограниченная способность к обману, то любое доказательство добросовестности может оказаться частью обмана. А любое сомнение в добросовестности может быть как раз тем, чего противник добивался. Старый Джим любил цитировать Элиота. *Пустыня зеркал.* Вы читали?

— «Геронтион».

— Хорошо. Так вот, — Прайс смотрел на него прямо. — Я пришёл не затем, чтобы вернуть эту логику. Её больше не будет. Теперь у нас новая администрация и, вероятно, скоро новый директор, а старый директор ушёл месяц назад. Нас реформировали. Мы теперь осторожны и вежливы. Но мне нужно, чтобы вы поняли одно: если вы напишете в своей оценке, что вероятность подставы тридцать процентов, Центр прочитает «семьдесят процентов добросовестности». А я прочитаю «тридцать процентов катастрофы».

— Я не собираюсь писать тридцать, — сказал Хартвелл.

— Тогда сколько?

Он помолчал.

— Я пока не знаю. Знаю только, что процент, который я напишу, будет выдуманным числом. Мы любим цифры, потому что они дают ощущение контроля. Но здесь нет статистики. Нет базы. У нас нет двухсот случаев, из которых сто пятьдесят подтвердились. У нас есть Пеньковский, который был настоящим, и два десятка других, о которых мы не знаем наверняка.

— Это ответ?

— Это описание проблемы.

Прайс кивнул. Не одобрительно и не осуждающе. Как кивает человек, который услышал нечто ожидаемое.

— А что бы вы делали на их месте? — спросил он. — Вы, как русский контрразведчик, которому дали задачу подставить американцам агента? Что вы сделали бы иначе?

Хартвелл подумал.

— Я не дал бы ему писать записки.

— Почему?

— Потому что записки — улика. Бумага, почерк, чернила. Всё это можно изучить. Хороший контрразведчик передал бы информацию устно или через третье лицо. Или подставил бы человека, который сам пришёл бы в посольство. Через ворота, под видом желающего получить визу. Это естественнее. А тут человек стоит на морозе и ждёт машину. Это очень плохая операция, если её придумали профессионалы.

— Или очень хорошая.

— Или очень хорошая, — согласился Хартвелл. — Если профессионалы рассчитали, что мы подумаем именно так.

Прайс усмехнулся, едва заметно.

— Вот, — сказал он. — Вот это и есть пустыня.

В тот же вечер Хартвеллу понадобилась машина.

Ему нужно было попасть в Министерство внешней торговли: плановая встреча, которую нельзя было отложить ради спасения чьей-либо души, не то что оценки добросовестности. Водитель ждал у ворот, и Хартвелл сел на заднее сиденье, как всегда, не сказав ни слова. Машину вёл Прохор Матвеевич: пожилой человек с красным лицом и огромными ладонями, лежавшими на руле с уверенностью, какая бывает у людей, всю жизнь водивших грузовики.

Прохор Матвеевич работал в посольстве одиннадцать лет. Он пришёл от Управления по обслуживанию дипломатического корпуса, как приходили все, и Хартвелл никогда не спрашивал, что именно он докладывает и кому. Спрашивать было незачем. Было вполне вероятно, что тот не докладывает ничего, кроме маршрутов. Было вполне вероятно, что докладывает всё. И было совсем не исключено, что это два разных состояния одного человека в разные дни недели.

— Холодно сегодня, Даниил Иванович, — сказал Прохор Матвеевич, не поворачивая головы. (Хартвелл давно перестал поправлять его на «Дэниела»: это было бесполезно и выглядело как претензия.)

— Холодно.

— У нас так в марте бывает. Обманет. Покажет солнышко, а потом опять. Моя жена говорит, в шестьдесят шестом точно так же было.

— Вы часто вспоминаете шестьдесят шестой?

— А что его вспоминать, — ответил Прохор Матвеевич. — Он был, как все.

Они проехали мимо очереди у магазина: женщины с авоськами стояли вдоль стены, и очередь уходила за угол. На стене висел лозунг про выполнение пятилетки. Лозунги в Москве были как деревья: ты замечал их только тогда, когда их не было.

— Сахар сегодня давали, — сказал Прохор Матвеевич. — Моя с утра побежала. Если с утра, то хватает.

Хартвелл не ответил. Он смотрел в окно.

Он думал: этот человек одиннадцать лет возит американских дипломатов. Он знает, где мы живём, с кем встречаемся, когда возвращаемся. Он, возможно, пересказывает всё это каждую пятницу в комнате без окон. И он же, возможно, рассказывает жене, как несправедливо, что на иностранцев в магазинах «Берёзка» продают то, чего у нас никогда не будет. Он мог бы быть и тем, и другим, и это не лицемерие, а положение. У человека может быть две жизни, и каждая из них честна по-своему.

А человек у машины шефа? Какая из его двух жизней вышла на заправку?

— Приехали, — сказал Прохор Матвеевич.

Хартвелл вышел. Водитель остался сидеть, глядя вперёд, с руками на руле. Через минуту, когда Хартвелл поднимался по ступенькам, ему показалось, что кто-то смотрит ему в спину. Он не обернулся. Но потом, уже в вестибюле, подумал: *если бы я обернулся, увидел бы только Прохора Матвеевича*.

Эта мысль не принесла облегчения.

Оценку он закончил к воскресенью.

Она заняла четыре страницы. Хартвелл отредактировал её дважды, прочёл вслух шефу, вернул Прайсу, получил назад с пометками на полях: «Недостаточно категорично», «Слишком много оговорок», «Не вижу рекомендации». Он убрал оговорки, добавил рекомендацию, и вышло хуже. Потом вернул половину оговорок и убрал рекомендацию. Оценка стала тоньше и честнее, и он понимал, что она никому не понравится.

В конце, в последнем абзаце, он написал:

«Оценка вероятности подставы по имеющимся данным не может быть выражена числом. Все наблюдаемые признаки совместимы с обеими гипотезами. Различить их можно только по поведению автора при изменении условий, в частности в том случае, если мы изменим наше собственное поведение. Пока мы остаёмся пассивными, он будет вынужден подстраиваться под нашу пассивность, и это даёт нам информацию только о его настойчивости, но не о его происхождении.

Рекомендуем: (1) не отвечать на записки до получения новых данных; (2) подготовить, не приводя в действие, план немедленного реагирования на случай нового подхода: каналы, пароли, место, время; (3) не предпринимать попыток выяснить личность автора. Любой запрос по этому поводу сам по себе является ответом.»

Он перечитал. Пункт третий был его самым осторожным и самым личным: он понимал, что, если кто-то в штабе захочет, он сможет попытаться установить личность автора по косвенным признакам. Это можно было сделать. Но тогда, если автор настоящий, они подвергнут его риску, и ничего не получат взамен. А если подстава, они выдадут свой интерес.

Он поставил подпись.

Прайс зашёл к нему вечером в воскресенье. Хартвелл сидел один, Бек ушёл. Прайс закрыл дверь и несколько секунд стоял, держась за ручку.

— Я прочитал, — сказал он.

— И?

— Это самый честный документ, который я видел за год. И самый бесполезный.

— Я знаю.

— Нет, — сказал Прайс. — Вы не знаете. Сейчас объясню. В нашей работе есть такое понятие: решение под неопределённостью. Все думают, что оно состоит в том, чтобы всё выяснить и решить. На самом деле оно состоит в том, чтобы решить до того, как выяснишь. Оценка нужна не для того, чтобы знать. Она нужна для того, чтобы кто-то мог отвечать за результат.

Он помолчал.

— Вы написали документ, за который никто не станет отвечать. Именно поэтому он не будет принят.

— Тогда что мне делать?

— Ничего, — сказал Прайс. — Вы сделали своё. Дальше будет решать Вашингтон. И он решит так, как решает всегда: осторожно, медленно и не в вашу пользу, как бы вы ни ответили.

Он вышел. Дверь закрылась без звука.

Хартвелл просидел ещё минуту. Потом взял со стола отчёт, положил его в сейф, повернул диск, проверил замок. Сейф был старый, серый, с облупившейся краской. На нём кто-то когда-то написал карандашом: *«Не бойся»*. Он никогда не стирал.

В этот вечер, возвращаясь домой пешком по Садовому, он поймал себя на том, что идёт без обычной осторожности: не меняя темпа, не глядя в витрины. Человек в пыжиковой шапке шёл в тридцати метрах позади. Хартвелл подумал: *если он тоже умеет читать мысли, то знает, о чём я думаю*.

Потом подумал: *а если нет, то ничего страшного*.

Но и эта мысль, к его удивлению, не успокоила.

Глава 3. Расписание ожиданий

Москва, июнь – июль 1977

Июнь в Москве начинается с пуха. Тополя выбрасывают свои белые хлопья, и город десять дней дышит ватой: в подъездах, на подоконниках, в волосах прохожих. Дворники ругаются. Милиционеры у посольских ворот отмахиваются от него, как от мух, и от этого теряют часть своей официальной суровости.

Хартвелл любил эти десять дней. В них было что-то необязательное, что-то отменяющее весь остальной год. Он шёл утром по бульварам, наружка плыла за ним в тридцати метрах, и пух садился на её серые пальто, превращая их в нечто смешное. Это было не зло. Это было просто время года.

В тот день, о котором речь, он узнал о существовании запертой комнаты.

Он не искал её. В профессии, где половина жизни проходит за закрытыми дверями, любопытство к дверям считается дурным тоном. Но у Хартвелла была привычка, нажитая за годы: он замечал не то, что видел, а то, что отсутствовало.

В станции было семь человек. Он знал их всех, и все знали его. Утренняя планёрка занимала двадцать минут. Раз в неделю шеф вызывал каждого по очереди и спрашивал: как дела, нет ли новостей, не хочешь ли чего-нибудь сказать. Такой порядок установился давно, ещё до Хартвелла.

Но в последнюю неделю июня что-то изменилось. Планёрка сократилась до десяти минут. Лэрри Бек, обычно разговорчивый, сидел над своей картотекой и молчал. Шеф ходил мрачнее обычного. Одна из сотрудниц станции, молодая женщина, которую Хартвелл знал только по коридорным кивкам и по тому, что она, как и он, не носила обручального кольца, перестала появляться на общих встречах.

Сначала он решил, что дело в личном. Потом решил, что в кадрах. Потом заметил то, что и должен был заметить в первый день.

На восьмой-девятый день его собственные журналы наблюдения показали странность. Раньше за ним ходили двое, иногда трое. Теперь ходил один. Ходил небрежно, лениво, как человек, у которого есть дела поважнее.

Хартвелл не обрадовался. Он подумал: *куда они перебросили остальных?*

В четверг, двадцать третьего июня, Мортон Прайс уже уехал, а шеф собрал всех в защищённой комнате на десять минут. Он сказал, что два дня назад была потеряна ценная операция. Что подробностей сообщать не будет. Что просит всех в ближайшие недели соблюдать повышенную осторожность. Что выезды в город, не связанные с работой, прекращаются.

Бек поднял руку.

— Мы можем знать, о чём речь?

— Нет, — сказал шеф.

— Тогда как нам соблюдать осторожность?

— Так, как вы всегда её соблюдали, — ответил шеф. — Только внимательнее.

Он обвёл взглядом комнату. Хартвелл заметил, что шеф ни на ком не остановил взгляда и что лицо у него было серое. Не злое и не испуганное: серое, как у человека, который несколько дней не спал и ещё несколько дней не уснёт.

Потом шеф вышел. Остальные разошлись молча.

В коридоре Хартвелл догнал Бека.

— Ты что-нибудь знаешь?

— Нет, — сказал Бек. И через секунду: — А ты?

— Нет.

Они посмотрели друг на друга. Это был странный момент. Каждый из них вдруг понял, что другой не лжёт, и что именно поэтому ни один не знает, что происходит. В этой профессии незнание не всегда признак того, что тебя не посвятили. Иногда это признак того, что ты и не должен был знать. А иногда и то, и другое сразу.

Принцип назывался *need to know*: каждому столько, сколько нужно для дела. Хартвелл понимал его логику: чем меньше людей знает, тем меньше людей может проговориться, предать или просто ошибиться под пыткой. Но он понимал и другое. Что принцип этот создаёт особый вид одиночества: ты работаешь вместе с людьми, чьих судеб не знаешь, и однажды тебе скажут, что один из них исчез, и ты не сможешь даже определить, по ком скорбеть.

В тот вечер он выкурил полпачки, не открывая окна.

На следующий день ему позвонили.

Звонил Сергей Аркадьевич Вихрев, консультант Торгово-промышленной палаты. Хартвелл познакомился с ним в марте, на одном из тех приёмов, где иностранные дипломаты и советские хозяйственники обмениваются визитками, как солдаты сигаретами. Вихрев был человеком лет сорока пяти, подвижным и приятным, в хорошем сером костюме, с манерой слушать, наклонив голову набок. Он говорил по-английски с лёгким британским акцентом. Хартвелл сразу отметил про себя: *учился не здесь*.

— Даниил Иванович, — сказал Вихрев в трубку, и Хартвелл услышал в этом «Даниил Иванович» ту же мягкую интонацию, что у Прохора Матвеевича, только отшлифованную. — Не хотите ли пообедать? Я знаю одно место, где приличный шашлык.

Хартвелл подумал секунду.

Принятое правило гласило: на любое приглашение со стороны советских граждан сначала отвечаешь «посмотрю», потом докладываешь шефу. Но после совещания шеф не хотел новых проблем, а Вихрев не был проблемой. Вихрев был частью жизни: одним из многих людей, с которыми профессиональный экономист в Москве встречается по роду занятий.

— Да, — сказал Хартвелл. — С удовольствием.

«Арагви» стоял на улице Горького, и в нём всегда было людно и дымно. Это было одно из немногих мест в Москве, где администратор мог найти столик без брони, если у посетителя было правильное лицо. У Вихрева было правильное лицо. Их посадили в углу, у окна, и официант в чёрном жилете принёс графин с красным, которое пахло подвалом и летом.

Они заказали хинкали, шашлык, лобио. Вихрев говорил о ценах на пшеницу, о недавнем визите чикагских зерноторговцев, о том, что американские фермеры, по его мнению, совершенно не умеют жить в долг.

— У вас в Америке всё держится на кредите, — говорил он. — У нас в плане. И то и другое обман, но разный. Ваш обман добровольный. Наш обязательный.

Хартвелл засмеялся. Это была хорошая реплика, и он решил, что Вихрев готовил её заранее.

— А вы знаете, — продолжал Вихрев, — я ведь недавно читал вашу статью. Вы пишете для «Foreign Affairs»?

— Нет. Я пишу докладные записки.

— Для государственного департамента?

— Для посольства.

— Значит, их никто не читает, — сказал Вихрев и улыбнулся. — Как и мои.

Они выпили. Потом ещё. Хартвелл следил за собой, как следят за дыханием: не слишком быстро, не слишком медленно. Он знал, что разговор идёт по какому-то сценарию, и пытался угадать, по какому.

В КГБ это называлось *разработкой*. Иностранца, представлявшего интерес, изучали, как изучают незнакомую дорогу: сначала издали, потом приблизившись, потом проверяя почву ногой. Составляли *установочные данные* (анкету, куда входило всё от привычек до слабостей).

Назначали человека для контакта. Выбирали момент. Иногда предложение делалось сразу, в лоб: «Вы нам помогаете, мы вам помогаем». Чаще же его вообще не делали. Просто создавали привычку: обеды, приглашения, подарки, мелкие услуги, и к моменту, когда просьба звучала, она казалась логическим продолжением дружбы.

Хартвелл видел десятки таких разработок, глядя на коллег. Он видел, как люди попадали в них по неопытности, по одиночеству, по тщеславию. Он знал, что у него самого есть слабости, и не питал иллюзий, что они не видны.

— У вас есть дети? — спросил Вихрев.

Хартвелл не вздрогнул, но воздух в комнате чуть изменил плотность.

— Дочь.

— Сколько ей?

— Девять скоро.

— Кэти, да? Катя. Хорошее имя. У меня тоже Катя, только постарше.

Хартвелл положил вилку.

Имя дочери он ни разу не произносил ни в одном разговоре за пределами посольства и своей квартиры. Ни Вихреву, ни кому-либо ещё из советских. Он помнил это точно, как помнят номер собственного телефона.

Возможных источников было три. Первый: микрофон в квартире, где он иногда говорил с дочерью вслух, читая письма, прежде чем отправить. Второй: советский персонал посольства, где на его столе лежала фотография, подписанная на обороте. Третий: письмо, перехваченное в дороге, хотя дипломатическая почта вскрытию не подлежала. Но все знали, что подлежало многое, чему не следовало подлежать.

Он взглянул на Вихрева. Тот смотрел на него спокойно, почти ласково. Ни одной лишней складки на лице.

— Простите, — сказал Хартвелл. — Откуда вам известно имя?

— Вы упоминали в марте. На приёме.

— Я не упоминал.

— Значит, кто-то другой. — Вихрев пожал плечами. — Москва маленький город, Даниил Иванович. Все всё знают. Не надо принимать это за что-то серьёзное.

Хартвелл кивнул. Он понимал, что только что получил два послания одновременно. Первое: мы знаем о вас больше, чем вы думаете. Второе: мы показываем вам это намеренно. Второе было страшнее первого, потому что означало, что Вихрев хотел, чтобы он испугался. А человека, которого хотят напугать, обычно хотят чего-то от него добиться.

Или, подумал он, хотят увидеть, как он поступит.

— Знаете что? — Вихрев налил ему вина. — Приезжайте ко мне на дачу в субботу. Жена варит варенье из крыжовника, дети в лагере. Погуляем. Поговорим без этой суеты.

— С удовольствием, — сказал Хартвелл, — но придётся посмотреть расписание.

— Конечно.

— Я дам вам знать.

— Конечно, — повторил Вихрев. И, наклонив голову, добавил почти тихо: — Расписание у всех, Даниил Иванович. Расписание ожиданий. Нам кажется, что мы их выбираем. На самом деле их выбирает за нас кто-то другой.

Он улыбнулся, и Хартвелл не смог определить, о чём тот говорит: о дружбе, о работе или о чём-то третьем, что лежало между ними и чего никто не называл.

Шеф выслушал его на следующее утро без особой реакции.

— Дача? — переспросил он.

— Да.

— Не едете.

— Не еду.

— Хорошо, — шеф помолчал. — А имя дочери?

— Я пытался определить источник. Не могу. Либо квартира, либо кто-то из своих.

— Либо оба.

— Либо оба.

Шеф записал что-то на листке. Потом, не поднимая головы, спросил:

— Вихрев не просил ничего конкретного?

— Нет.

— Тогда это не вербовка. Пока. Это обработка. Они хотят выяснить, из чего вы сделаны.

— И что они выяснили?

— Что вы не поехали на дачу, — сказал шеф. — Это уже что-то.

Он посмотрел на Хартвелла впервые за этот разговор, и в его взгляде было что-то, чего раньше не было. Усталость, понял Хартвелл. Не физическая. Усталость человека, который слишком давно знает цену своим решениям и каждое утро заново убеждается, что цена выросла.

Пятнадцатого июля, в пятницу, Хартвелл поздно возвращался с работы и увидел, что в окнах станции горит свет.

Это было странно. Станция работала в обычном режиме до семи, потом закрывалась. Он повернул обратно, поднялся по боковой лестнице, прошёл через двойную дверь.

В комнате стояло шесть человек: шеф, Бек и ещё четверо. Никто не разговаривал. Шеф сидел за столом, положив ладони на столешницу, и смотрел на них, как на что-то чужое.

— Что случилось? — спросил Хартвелл.

Шеф поднял голову.

— Сядь, Дэн.

Хартвелл сел. Бек, стоявший у стены, шумно выдохнул.

— Сегодня вечером, — сказал шеф ровным голосом, — задержали одну из наших. Во время работы. На месте. Её доставили в КГБ. Сейчас идёт допрос. Мы подали протест. Скоро всё закончится тем, что её объявят персоной нон грата, и она уедет.

Он замолчал.

— Кто? — спросил Хартвелл.

— Не имеет значения.

— Она...

— Она жива, — сказал шеф. — Здорова. И не скажет ничего. Об этом можешь не беспокоиться.

Хартвелл понял. Это была та самая, молодая женщина, которая перестала появляться на встречах. Он вспомнил её кивки в коридоре, её тёмный жакет, привычку держать папку к груди обеими руками. Он не знал даже её настоящей должности. Знал только, что у неё не было обручального кольца, как и у него.

— Это связано с тем... — начал он.

— Не спрашивай, — перебил шеф.

— Я не спрашиваю.

— Ты именно это и делаешь, — сказал шеф. Не злобно. Почти ласково. — Хорошо. Скажу одно. Через несколько недель некоторые вещи станут известны. Не нам, но кому-то. Не торопись с выводами. Иногда самое важное в нашей работе то, чего мы не знаем.

Он встал, подошёл к окну (в этой комнате окна не было, но привычка осталась, и шеф просто повернулся лицом к стене) и добавил:

— Я хочу, чтобы вы все знали: она сделала то, что обязана была сделать. И сделала правильно. Если вам понадобится говорить об этом, говорите. Только не здесь.

Потом он вышел.

Хартвелл просидел в комнате ещё минут десять. Никто не двигался. Вентиляция гудела. Бек смотрел в пол.

В тот вечер Хартвелл возвращался домой пешком, по Садовому кольцу, в духоте, которая стояла над городом, как крышка над кастрюлей. Наружка за ним не шла. Первый раз за месяц. Он вдруг ощутил странное одиночество, как будто потерял что-то привычное.

Потом понял: те, кто обычно ходил за ним, сегодня были заняты.

Лето прошло. Сентябрь пришёл серый, мокрый, с запахом прелой листвы и угольной гари. Станция работала в режиме экономии: ничего лишнего, ничего рискованного. Центр прислал распоряжение о «временной консервации ряда направлений». Все понимали, что это значит, и никто не произносил вслух.

Хартвелл вернулся к своей оценке добросовестности. Прайс давно улетел. Шеф сказал: пока ничего не меняется, ждём. Но Хартвелл всё чаще открывал сейф и перечитывал последнюю страницу, где писал, что различить гипотезы можно только по поведению автора при изменении условий.

Условия изменились. Не те, о которых он писал, но другие. Он знал теперь, что Второе главное управление работает на пределе своих возможностей, знал, что оно способно за несколько недель выследить и обезвредить агента, на которого американцы возлагали серьёзные надежды. И из этого следовало одно из двух.

Либо контрразведка настолько сильна, что подстава с человеком на заправке для неё детская забава. Тогда автор записок вполне мог быть её орудием.

Либо контрразведка настолько занята, что у неё нет сил на лишние игры. Тогда автор записок был тем, чем себя называл.

Хартвелл написал в приложении: *«Демонстрация возможностей КГБ летом 1977 года не меняет оценку, но меняет цену ошибки в обе стороны»*. Потом зачеркнул «в обе стороны». Ошибка в одну сторону стоила одной жизни. Ошибка в другую стоила нескольких.

Он закрыл сейф.

В воскресенье, двадцать пятого сентября, он взял посольскую машину, сказал дежурному, что едет за город посмотреть дачные посёлки (тема для экономического обзора: частный сектор в советской аграрной системе), и поехал, не выбирая маршрута. Наружка шла за ним двумя машинами.

Он проехал мимо заправки. Не остановился. Просто замедлился, как водитель, оценивающий очередь.

Заправка была обычная: три колонки, будка, асфальт с масляными пятнами. Две «Волги» стояли в очереди. Человек в синем комбинезоне что-то объяснял водителю, размахивая руками. Никого, кто смотрел бы на номера проезжающих машин.

Хартвелл нажал на газ и поехал дальше.

Он не знал, чего ждал. Может быть, ничего. Может быть, чтобы мир оказался проще: чтобы тот человек просто стоял там, как столб, и можно было подойти и сказать: *да, мы читали ваши записки, мы вас ждали.* Но мир так не работал. Мир ждал и молчал, и это молчание тоже было ответом.

На обратном пути он включил радио. Передавали сводку по зерну: урожай собран, план перевыполнен, трудящиеся рапортуют. Хартвелл слушал, не слыша. Он думал о женщине, которую выслали. О человеке, чьё имя ему не назвали. И об ещё одном человеке, с заправки, который где-то в этом городе сидел за чертёжным столом и, наверное, тоже слушал радио и думал, что делать дальше.

Мимо проехала милицейская машина с мигалкой. Хартвелл подумал: *в этом городе всё друг о друге знают и никто ни с кем не говорит*. И понял, что это и есть главный закон его работы. Не секретность, а нехватка слов.

Глава 4. Корм для кур

Москва, декабрь 1977 – март 1978

В декабре в Москве темнеет в три часа дня. Свет не уходит, а сдаётся: небо становится цвета мокрого асфальта, фонари включаются раньше, чем люди успевают закончить дела, и город в четыре уже живёт вечерней жизнью. В очередях стоят с авоськами. На углах продают ёлки: колючие, кривые, привезённые откуда-то с севера в кузовах грузовиков, и мужчины в ушанках несут их домой, как трофеи.

Прежний шеф уехал в августе. Без прощаний и без церемоний: просто в понедельник на двери его кабинета оказалась другая фамилия. Хартвелл не удивился. В этой профессии люди уходят так, как уходит свет: не потому, что кто-то выключил, а потому что кончился день. Но он заметил за собой, что скучает. Не по человеку, которого уважал и не понимал, а по порядку вещей, при котором решения принимал тот, чьи сомнения ему были знакомы.

Новый шеф сомневался иначе. Он был моложе, подвижнее, говорил быстро и писал ещё быстрее. Хартвелл не мог бы сказать, нравится ли он ему. Но с самого первого дня заметил: этот человек не боялся ответственности. Это было либо большим достоинством, либо большим риском, и Хартвелл ещё не знал, чем именно.

В середине декабря, в среду, шеф вызвал его без предупреждения.

— Закройте дверь, — сказал шеф.

Хартвелл закрыл. В комнате было тепло и душно. На столе лежал конверт, обычный советский, белый, без марки, без адреса. Рядом два листа, исписанных на машинке.

— Вчера, — сказал шеф, — один из наших жён ходил по рынку. Подошёл человек. Сунул ей письмо в руки. Сказал по-русски: «Пожалуйста, передайте ответственному американскому сотруднику». И ушёл. Она передала помощнику офицера безопасности, тот не вскрывал, принёс мне.

— Тот же? — спросил Хартвелл.

— Почерк другой, текст другой. Но способ тот же, а главное, повторяются схемы. Те же рисунки, те же варианты контакта. Это он.

Хартвелл сел. Он взял листы и стал читать, не торопясь, так, как читают письма от человека, которого давно ждёшь и боишься, что тот окажется не таким.

Письмо было подписано не именем и не инициалами, а просто: «Доброжелатель». Автор в третий раз повторял просьбу об ответе. Прилагал два новых рисунка: место, время, сигнал. А затем писал, что понимает, как опасно для американцев доверять незнакомому. Поэтому прикладывает образец того, что он может дать.

Образцом были две машинописные страницы.

Хартвелл перевёл взгляд на текст и сразу понял, что не сможет оценить его по существу. Это были схемы, формулы, перечень параметров: описание радиоэлектронного комплекса одного из советских самолётов. Слова он знал, смысл нет. Для оценки нужны были инженеры в Вашингтоне, и ждать их ответа придётся недели.

Но он заметил то, что не требовало знания электроники.

— Это напечатано, — сказал он.

— Да.

— Почему?

— Не понял.

— Почему на машинке? — Хартвелл подвинул лист. — В советском институте пишущие машинки на учёте. Это знают все. Каждая зарегистрирована, у каждой взяты образцы шрифта. Я слышал, что в «режимных» учреждениях это делается всерьёз: если появится листок, напечатанный неизвестно где, его можно проследить до конкретной «Эрики» в конкретной комнате.

— И что?

— Либо он не боится, — сказал Хартвелл. — Либо знает, что его машинку проверять не будут. Либо печатал не на своей. Либо это вообще не его машинка, а чья-то, подготовленная для нас.

Шеф помолчал.

— То есть вы считаете, что это подстава.

— Я считаю, что у нас теперь есть ещё одна вещь, которую мы не умеем интерпретировать.

Шеф усмехнулся впервые за разговор.

— Вы очень осторожный человек, Дэниел.

— Меня так учили.

— Я не упрекаю. Я прочёл вашу записку от февраля. Хорошая записка. Она точно описывает проблему. Но она не говорит, что делать. Я хочу, чтобы вы перестали описывать проблему и начали думать о решении.

— Решение не от меня зависит.

— Именно, — сказал шеф. — Оно зависит от того, что скажет Вашингтон. А Вашингтон скажет то, что мы ему напишем. Помогите мне написать.

Они писали четыре дня.

Шеф диктовал, Хартвелл правил. Телеграмма росла, обрастала оговорками и снова теряла их. К концу четвёртого дня в ней осталось главное: образец информации технически содержателен; автор настойчив до степени, трудно объяснимой при подставе; нет оснований считать, что контакт подвергнет станцию большему риску, чем любая другая операция; рекомендуется ответить.

Хартвелл подписал её не потому, что убедился. Потому что понимал: у каждой стороны в этом споре есть своя правда. И что единственный способ узнать, чья она, заплатить за это.

В Вашингтоне, как ему потом рассказали, телеграмма вызвала долгие споры. Одни читали её как просьбу о риске. Другие как свидетельство, что станция начинает терять осторожность. Среди тех, кто мог повлиять, нашёлся человек, который сказал: нельзя повторить ошибку шестидесятых, когда отвергали настоящих и принимали подставных. Нашёлся и другой, возразивший: нельзя повторить ошибку семидесятых, когда терпели потери, которых можно было избежать.

Оба были правы. Это и было самое неприятное.

Был ещё термин, который в этих спорах звучал чаще других и который Хартвелл про себя ненавидел: *корм для кур*, по-английски *chicken feed*. Так называли подлинную, но малоценную информацию, которую контрразведка скармливает противнику, чтобы создать доверие к подставному источнику. Настоящие документы, настоящие схемы, но уже устаревшие, уже известные или просто неважные. Фальшивку можно проверить и разоблачить. Корм для кур проверку выдерживает, потому что он настоящий.

Вопрос был не в том, подлинны ли две страницы. Вопрос был в том, **сколько они стоят**. Если мало, то они либо корм, либо автор действительно знает немного. Если много, то слишком опасно для обмана, и значит, автор настоящий.

В январе пришёл ответ.

Ответ был двух строк.

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОБРАЗЦА: ИНТЕРЕСНО, НО НЕ НАНОСИТ СЕРЬЁЗНОГО УЩЕРБА ПРОТИВНИКУ. ПРИЧИНЫ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.

Шеф положил листок на стол, не комментируя.

— «Прежние причины», — сказал Хартвелл.

— Неделю назад, — сказал шеф, — советская сторона объявила одного из наших дипломатов персоной нон грата. Не сотрудника станции, другого. Но Вашингтон не разделяет такие вещи. И в прошлом году мы отправили домой двух офицеров, потому что их агенты были раскрыты.

Он замолчал. Хартвелл знал, что за этим стояло. За этим стояло лето 1977 года, комната без окон, серые лица, имя, которое ему так и не назвали. Нельзя было, не потеряв лица, просить у Вашингтона права рисковать ещё одним человеком в Москве, пока рана не закрылась.

— Они правы, — сказал Хартвелл.

— Да.

— И не правы.

— Тоже да.

Шеф встал и подошёл к стене, к которой, как и прежний, повернулся лицом. Хартвелл понял, что это не случайность, а привычка: все, кто работал в этой комнате без окон, рано или поздно поворачивались к стене.

— Знаете, что меня больше всего беспокоит? — сказал шеф. — Не решение Вашингтона. Он ведь в чём-то прав. Меня беспокоит, что он, возможно, настоящий. И что мы его теряем.

— Если он настоящий, он вернётся.

— Или сломается. Или найдёт другого. Или его возьмут. — Шеф обернулся. — Скажите, Дэниел. Вы бы вернулись? После трёх отказов?

Хартвелл подумал.

— Не знаю. Я боюсь, что нет.

— Вот это я и хотел услышать, — сказал шеф. — Потому что тот, кто вернулся, либо глупее вас, либо храбрее. И я не знаю, что из этого хуже.

Седьмого января Хартвелл позвонил дочери.

Это было не принято. Звонки в США из Москвы шли через телефонистку, которая ждала соединения по двадцать минут и слушала всё, что говорилось. Но Рождество в Москве не празднуют, а Кэти исполнилось девять ещё в марте, и он тогда не позвонил, потому что в тот день стоял на крыльце посольства и пытался представить, что такое день рождения.

— Алло?

— Кэти. Это папа.

— Папа! — Голос был далёким, прерывающимся, потрескивал в трубке. — Ты где?

— В Москве.

— А холодно?

— Холодно.

Он ждал, что она скажет что-нибудь ещё. Она не сказала. Была тишина, густая, как снег, с шорохом линии. Он слышал, как она дышит. Потом она сказала:

— Мама говорит, что ты работаешь с цифрами.

— Да, — сказал он. — Я работаю с цифрами.

— А это интересно?

— Иногда.

Они помолчали ещё. На линии что-то щёлкнуло. Хартвелл представил себе женщину в наушниках где-то на узле связи, которая слушала и знала, что он врёт, и записывала, что отец врёт дочери, и не придавала этому никакого значения, потому что в её работе врущие отцы были обычным делом.

— Мне пора, — сказал он.

— Хорошо. Пока, папа.

— Пока, зайка.

Он положил трубку. И понял, что не сказал ей ничего из того, что хотел.

В середине февраля пришла новость из другого источника.

Из Пентагона в Центральное разведывательное управление поступила записка. Хартвелл не видел её сам, шеф только пересказал, но по его тону было ясно: это что-то меняет. Американские военные заявляли о высоком интересе к любой информации о советской авиационной электронике и системах управления вооружением. Не вообще, а именно к такой, какой был образец автора записок.

Хартвелл вспомнил слова Прайса: *Оценка нужна не для того, чтобы знать. Она нужна для того, чтобы кто-то мог отвечать за результат*. Теперь у кого-то в Вашингтоне появилась бумага, под которой можно было подписаться.

Шестнадцатого февраля, в четверг, шеф сказал ему утром:

— Сегодня вечером я иду домой с женой. Это будет по обычному маршруту, мимо моего места. Я хочу, чтобы вы были рядом. Не близко. Посмотрите, нет ли чего.

— Он выйдет?

— Не знаю. Но если выйдет, я хочу, чтобы кто-то видел всё со стороны.

Хартвелл ушёл с работы раньше обычного, пересёл на другую машину, сделал два лишних круга по бульварам и поставил её у обочины метрах в ста от нужного места, с видом на тротуар. Он просидел там сорок минут в темноте и холоде, держа в руках термос с остывшим чаем.

Шеф с женой вышли в начале седьмого. Вышли из ворот, прошли вдоль стены, остановились у машины. Жена что-то говорила, шеф кивал. Всё выглядело самым обычным образом. Вечерняя Москва, семейная пара, фонари. Хартвелл следил за прохожими, не отрывая глаз. Женщина с авоськой, двое подростков, мужчина в ушанке. Все шли мимо. Потом, у самой машины, один из них замедлил шаг.

Это был человек лет пятидесяти, в тёмном пальто и меховой шапке. Лицо Хартвелл не разглядел. Заметил только руки: он держал что-то обеими, прижимая к груди, как прижимают папку. Человек коротко наклонился, сказал несколько слов, сунул шефу что-то в ладонь и пошёл дальше. Ни разу не обернулся. Через несколько секунд он растворился среди пешеходов.

Хартвелл не двинулся. Сидел не дыша, смотрел на тротуар. Никто не побежал вслед. Никто не вышел из подъезда. Никто не сменил темп. Ни наружка, ни кто бы то ни было другой. Тротуар жил своей жизнью, как будто ничего не случилось.

Либо это значило, что человек пришёл один и ушёл один.

Либо это значило, что за ним смотрели откуда-то, откуда Хартвелл не мог видеть.

Он выпил остывший чай до конца. Потом завёл мотор.

Записка, которую получил шеф, была короткой и дерзкой.

Хартвелл прочёл её в тот же вечер, в комнате без окон, под жёлтой лампой. Автор писал, что попал в замкнутый круг: *по соображениям безопасности он боится написать о себе слишком много, а без этого американцы по тем же соображениям боятся с ним связаться, опасаясь провокации*. Предлагал выход. Он называл номер своего домашнего телефона, но не целиком: без двух последних цифр. Эти две цифры он покажет в определённый день и час на определённой автобусной остановке: будет стоять в очереди с двумя кусками фанеры, на каждом по одной цифре.

— Господи, — сказал Бек.

Хартвелл молчал.

Это было умно. Это было до неприличия умно. Человек придумал способ сообщить информацию так, чтобы её нельзя было перехватить, потому что она существовала только в одном месте и в одно время. Ни бумаги, ни следа, ни улики. Две цифры на фанере. Кто увидит, тот и знает.

И в этой же умности была ловушка.

Потому что человек, способный придумать такое, либо был невероятно изобретателен, либо имел за спиной организацию, которая умела придумывать. И Хартвелл не мог решить, чьё из двух умений нужнее для данной операции.

Операцию проводили через два дня. Он снова был на подстраховке. Он снова ничего не видел. Видела жена шефа, которая проехала мимо остановки на машине, не останавливаясь, и разглядела в очереди человека с фанерками. Она запомнила цифры. Потом мы получили телефон целиком.

Хартвелл не был там. Но когда он услышал, как это произошло, ему стало так плохо, что пришлось выйти в коридор. Не от страха, а от чего-то другого. От мысли о человеке, который стоит в очереди на остановке, держа в руках две фанерки, в зимнем пальто, в толпе, со знанием, что любой из пятнадцати людей вокруг может быть из КГБ. Который стоит и ждёт, пока мимо проедет женщина. Пока она увидит. Пока он сможет уйти.

Сколько нужно было мужества, чтобы просто стоять в очереди?

Двадцать шестого и двадцать восьмого февраля в телефонной будке на окраине Москвы один из офицеров станции, тщательно проверившись, набирал домашний номер Заявителя. Оба раза ответила женщина.

Звонки пришлось прервать.

Хартвелл узнал об этом задним числом. Но вот что он узнал раньше: за два дня до первого звонка шеф вызвал его и сказал:

— Дэниел, сделайте одолжение. В понедельник и в среду вечером прогуляйтесь по городу. Не по обычному маршруту, а так, как вы это делаете, когда у вас дела. Пройдите через центр. Сделайте несколько остановок. Посмотрите витрины.

— Зачем?

— Хочу, чтобы они видели вас.

Хартвелл посмотрел на него.

— Они и так меня видят. Каждый день.

— Но не так, — сказал шеф. — Не как человека, у которого дела.

Он замолчал. Хартвелл молчал тоже. Он понимал, что ему предлагают что-то сделать, и не спрашивал, что именно. И не потому, что не хотел знать, а потому, что был уверен: ответ ему не понравится.

В понедельник он сделал, как просили. Шёл долго, кружил по переулкам, останавливался у витрин, один раз зашёл в гастроном и вышел с пустыми руками. Наружка шла за ним. Не двое и не трое, а пять, шесть человек, сменявших друг друга. Он насчитал две машины. Он никогда не видел такой плотности. Он ходил по городу, ощущая себя ёлочной игрушкой в чужой руке.

В среду он повторил.

Только вечером, лёжа в темноте на диване, он сложил цифры. Двадцать шестое. Двадцать восьмое. Звонок из телефонной будки на окраине, у которой ни одного свидетеля, потому что весь резерв Седьмого управления в эти вечера ходил по центру за американским экономистом, который был так подозрительно занят.

Он не был сердит. Скорее почувствовал себя усталым. Он понял, что его использовали, и понял, что сам себе дал на это согласие. Не словами, а молчанием. Тем, что не спросил.

На следующий день он зашёл к шефу.

— Вы использовали меня, — сказал он.

— Да.

— Как приманку.

— Как отвлечение, — поправил шеф. — Это разные вещи, хотя звучат одинаково.

— Вы могли спросить.

— Если бы я спросил, вы бы ответили «нет». А если бы согласились, то ходили бы иначе. Они бы почувствовали. — Шеф смотрел на него прямо. — Дэниел, я не горжусь этим. Но у

меня был выбор: либо один человек будет два вечера ходить по городу, ничего не зная, либо двое будут рисковать, зная всё. Я выбрал первое.

— Вы выбрали за меня.

— Да.

Они стояли друг против друга. Хартвелл вдруг осознал, что гнев в нём есть, но он не направлен на шефа. Он направлен на что-то более широкое, на всю эту систему, где добро и зло определяются не намерениями, а расчётом: как распределить риск, чтобы цена оказалась минимальной.

— Если бы с ним что-то случилось, — сказал он, — по моей вине...

— Не по вашей, — перебил шеф. — По моей.

И в этот момент Хартвелл понял: шеф не извиняется. Он просто констатирует факт. Тот самый, о котором Хартвелл мог бы сам догадаться, если бы захотел: человек, который принимает решения, не имеет права на чистую совесть. Это не привилегия. Это плата.

Первого марта человек снова вышел.

На этот раз он передал не клочок бумаги, а целую пачку: одиннадцать страниц, исписанных от руки мелким, ровным почерком. Шеф разложил их на столе. Хартвелл стоял за его плечом.

Первые три страницы были посвящены технике: детальное описание систем, которыми занимался автор, чертежи, цифры. Следующие несколько страниц были об операции: как он нас искал, почему боится, чего не хочет. А дальше, на девятой странице, шла фраза, от которой у Хартвелла зашумело в ушах.

Автор называл себя.

Полное имя. Адрес. Место работы. Должность. Он писал: *годами я ходил по улицам, высматривая машины с дипломатическими номерами. Десятки раз возвращался, не передавая ничего, потому что условия были неблагоприятны. Теперь я почти в отчаянии. Если и на этот раз не будет положительного ответа, я прекращу попытки.*

Он жил в девятом этаже дома в четырёхстах метрах от посольства. В четырёхстах метрах, думал Хартвелл. Столько нужно пройти, чтобы дойти до ворот. Всё это время он жил рядом.

— Теперь у нас есть имя, — сказал шеф.

— Да.

— Если это подстава, то самая дерзкая за всю мою службу. Потому что КГБ никогда не называет настоящее имя своих людей. Даже подставных.

— Это и есть ответ, — сказал Хартвелл.

— Какой?

— Если имя настоящее, то он либо искренен, либо готов умереть за свою искренность. Если ненастоящее, то мы рано или поздно это выясним. Но в обоих случаях он поставил на кон всё, что у него есть. А человек, который ставит всё, даёт нам одно: основание принять его всерьёз.

Шеф посмотрел на него.

— Вы это сами придумали?

— Нет. Это Прайс.

— Прайс, — повторил шеф и вдруг слегка улыбнулся. — Хороший был человек. Жаль, что ошибся.

— В чём?

— Он сказал, что вы напишете документ, за который никто не отвечает. А вы написали документ, из-за которого мы пошли на риск.

— Я не рекомендовал идти.

— Вы рекомендовали не терять человека, — сказал шеф. — Это то же самое.

Хартвелл хотел возразить. Не успел.

Вечером пятого марта, в воскресенье, из будки у Большого театра, где под колоннадой горели жёлтые фонари и в морозном воздухе стоял запах горелого снега, в Москве позвонили по номеру домашнего телефона человека, у которого были имя, адрес и должность.

Звонок пришёлся на десять вечера. Позвонил офицер, который представился «Николаем». Трубку взял тот, кого ждали.

Хартвелл при этом не присутствовал. Он узнал подробности позже, и не от шефа, а из копии доклада, которую ему дали на ночь для оценки качества разговора. Разговор был коротким. «Николай» подтвердил, что материалы получены. Он сказал, что американская сторона заинтересована. Он добавил, что с ним свяжутся.

Человек на том конце провода сказал: *Благодарю вас.*

И всё. Три слова.

Прочитав доклад, Хартвелл долго сидел неподвижно. Потом положил папку, подошёл к окну своей квартиры и отодвинул штору. Внизу, под фонарём, на скамейке никого не было: наружка в воскресенье отдыхала. Двор был пуст. На ветках лежал серый снег, подтаявший за день и схваченный за вечер.

Он подумал: *теперь он наш*.

А потом подумал: *нет. Теперь мы его*.

Это была другая формула. Он не был уверен, что она точнее. Но она была честнее.

Потому что у человека с фанерками остались жена, сын и девятый этаж дома в четырёхстах метрах от посольства. А у них, у американцев, не осталось ничего, кроме новой строки в отчёте и нового слова в картотеке.

Бек вчера принёс из архива карточку. Присвоили псевдоним: **«Сфера»**. Хартвелл смотрел на неё долго. Слово казалось странным, круглым, замкнутым. Он подумал, что подходит: у сферы нет углов, за которые можно зацепиться, и нет входа, через который можно попасть внутрь.

Он погасил свет. В темноте за окном было слышно, как где-то далеко, за домами, грохочет трамвай.

Глава 5. Рукавица

Москва, август 1978 – январь 1979

Тайник сделали двадцать четвёртого августа, в четверг. Это был день, когда в Москве не происходило ничего.

Хартвелл потом не раз думал об этом. Операция, которая стоила месяцев споров, нескольких телеграмм в день и одной бессонной ночи шефа над схемой, ради которой переписывали маршруты и пересчитывали смены наружки, заняла несколько минут, и никто в городе ничего не заметил. Дворник подметал двор. Женщины стояли в очереди за арбузами. Над крышами висело то жаркое, мутное небо, какое бывает в конце московского лета, когда ты уже устал от тепла, но ещё не готов к холоду.

В тот день он получил задание, которое мог бы выполнить любой стажёр: нарисовать на листе календарь. Календарь, в котором по дням и часам будет видно, когда Седьмое управление КГБ перебрасывало силы с одного объекта на другой. Он вёл этот календарь с зимы, помечая каждую крупную смену, каждый всплеск плотности. Теперь по нему выбирали час.

— Среда или четверг, — сказал шеф, глядя на лист. — Я ставлю на четверг.

— Почему?

— По средам у них собрания.

— Откуда вы знаете?

— Не знаю, — сказал шеф. — Просто смотрю на ваш график.

Хартвелл посмотрел тоже. Он не заметил закономерности. Но шеф, возможно, видел то, чего не видел он, или просто хотел, чтобы так было. Решение приняли в тот же вечер.

Решение о тайнике принял не шеф. Его принял Вашингтон.

Шеф хотел встречи. Не абстрактной, а живой: чтобы офицер вышел на улицу, подошёл к человеку и сказал: *мы вас слушаем*. Он писал об этом в нескольких телеграммах, в разных формулировках, с разной степенью настойчивости. Штаб-квартира отвечала, что личный контакт в Москве слишком опасен. Лучше безличный: оставить для агента материалы в месте, где ни один американец не окажется рядом с ним, и пусть он сам решает, когда забрать.

Хартвелл прочёл эту переписку и понял её логику. Тайник был безопаснее для американских офицеров. Он оставлял меньше следов, не требовал одновременного присутствия двух людей, не создавал свидетелей. Но он создавал одиночество. Человек, которому передали пакет через тайник, оставался наедине с пакетом. Без голоса, без лица, без возможности спросить: *правильно ли я понял*.

Позже он узнает, что именно так и работали советские агенты ЦРУ в Москве: по инструкции, через тайники, годами не видя своих кураторов. Но в августе 1978 года он ещё этого не знал и просто чувствовал, что что-то не так в самом принципе.

Двадцать четвёртого августа офицер, которого в станции называли «Николаем», позвонил Заявителю из телефонной будки и назвал место. Рядом с другой телефонной будкой, около дома, где тот жил, лежала грязная рабочая рукавица.

Об этой рукавице Хартвелл думал потом много раз.

Выбрал её не он. Выбрал отдел технических служб. Грязная, мятая, пропахшая цементом, ничем не примечательная, такая, какие валяются на любой стройке. Никто не поднимет, никто не заинтересуется. Внутри лежал пакет: записка с инструкциями, список вопросов, которые американцы хотели задать, лист копировальной бумаги для тайнописи и три заранее написанных безобидных письма, на обороте которых можно было писать невидимыми чернилами. И блокнот одноразовых шифров, чтобы закрыть самое важное от посторонних глаз.

Блокнот в последний момент добавили по настоянию шефа. Хартвелл знал об этом из внутренней переписки. Шеф настоял, и это было правильным решением, и Хартвелл ещё раз

отметил про себя, что новый начальник умеет делать то, чего не умел прежний: принимать быстрые решения, не отгораживаясь от них сомнением.

Они не знали, подберёт ли человек рукавицу. Не знали, поймёт ли. Не знали, останется ли жив через неделю.

Больше всего Хартвеллу запомнилось то, что никто из них ничего не мог сделать. Не оставалось ни одного действия, ни одной проверки, ни одного шага. Только ждать. Человек, который неделями ходил по улицам в поисках американской машины, теперь должен был сам решить, брать ли рукавицу.

Он взял.

Первое письмо пришло в середине сентября.

Оно пришло не в Москву. Оно прошло через весь советский почтовый аппарат, миновало все проверки и осело на адресе в одной из европейских столиц, который контролировало ЦРУ. Самое обычное письмо: две страницы бытовых новостей, поздравления с праздником, просьба прислать лекарства для тёти. Никаких намёков.

Когда химики проявили оборот листа, на нём обнаружился текст.

Хартвелл не видел его сам. Он видел только пересказ, который через день пришёл в станцию, и то в сильно урезанном виде, потому что допуск к первоисточнику имели единицы. Но этого хватило. В письмах содержались сведения о новой советской радиолокационной системе разведки и наведения для самолётов, результаты испытаний радаров, состояние работ над прицелами для нескольких перспективных машин. Всё это излагалось плотно, технически, без единого лишнего слова. Автор писал так, как пишут люди, которые привыкли не объяснять, а перечислять.

Но было и другое, что обратило на себя внимание. Все три письма, как сообщили химики, носили следы вскрытия. Кто-то открывал их на почте, читал, закрывал заново. Это было нормой: почту иностранных адресатов, особенно в Европе, перлюстрировали рутинно. Но невидимые чернила остались незамеченными.

Хартвелл прочитал это дважды.

Письма вскрывали. Тайнопись не заметили. Значит, человек писал так, что его почерк, его стиль, его слова выдержали проверку обыкновенной перлюстрации. Не потому, что скрывал. Потому что письма действительно выглядели безобидными. Человек, который не умел бы этого, давно был бы пойман.

Он закрыл папку и подумал: если это игра, то игра такого уровня, что мы никогда не узнаем, что она была.

Но вывод был другой, и сделали его не здесь. В Вашингтоне, в тех самых кабинетах, где полгода назад отказывали, внезапно изменился тон. Материал оказался настолько насыщенным, что осторожные начали говорить: «подделать такое невозможно». Хартвелл не был уверен. Он знал, что вопрос о подделке в таких случаях никогда не закрывается окончательно. Но он видел, как менялись интонации телеграмм, и понимал, что чаша весов качнулась.

В октябре Центр дал согласие на личную встречу.

В конце сентября, когда письма ещё не пришли, Хартвелл всё-таки поехал на дачу.

Шеф настоял. Он сказал:

— Вихрев, возможно, хочет вас вербовать. Возможно, просто присматривается. В любом случае нам лучше знать, как он работает. Вы поедете.

— Вы же сказали, что нет.

— Я говорил в июне. Тогда у нас был другой расчёт. Сейчас у нас на руках то, что нужно защищать. Если КГБ потеряет интерес к вам, он найдёт другого. А мне нужен тот, кого я знаю.

Это была логика. Хартвелл принял её.

Дача находилась в тридцати пяти километрах от Москвы, в пределах сорокакилометровой зоны, за которую иностранные дипломаты без особого разрешения выезжать не могли.

Он заранее уведомил МИД, и уведомление приняли без возражений. Это само по себе было странно: обычно такие просьбы тормозились. Здесь же всё прошло гладко. Хартвелл отметил это в уме и пошёл дальше.

Дачный посёлок стоял в берёзовом лесу, с покосившимися заборами, сараями, грядками, на которых ещё держались последние астры. У калитки его ждал Вихрев в вязаном свитере, без галстука, с садовыми ножницами в руке, как будто только что отложил их.

— Даниил Иванович. Вы приехали.

— Вы приглашали.

— Приглашал. Но не был уверен.

Они прошли по дорожке. Дом был старый, деревянный, с верандой, которую, видимо, красили в разные годы разной краской. Жена Вихрева, Лидия Петровна, женщина лет сорока, с лицом человека, привыкшего к тому, что за спиной у неё кто-то решает вопросы, встретила его в переднике и тут же усадила за стол. На столе стояли банки с вареньем, домашний хлеб, огурцы, графин с чем-то прозрачным.

— Крыжовник, — сказал Вихрев. — Как обещал.

За обедом говорили о пустяках. О погоде. О цене картошки на рынке. О том, что зимой в Москве трудно с яблоками, а на даче они гниют, потому что не успевают собрать. Хартвелл слушал, кивал, ел крыжовник, который оказался горьким и сладким сразу. Он следил за каждым словом и не находил ничего.

Только когда женщины ушли на кухню, Вихрев откинулся на спинку стула и сказал, не глядя на него:

— Вы думаете, что я из КГБ.

Хартвелл не ответил.

— Это не вопрос. Я знаю, что вы так думаете. Все иностранцы думают так про всех, кто с ними разговаривает. Это нормально. — Он налил себе из графина. — Не буду врать: я действительно из тех мест. Не отвечаю на вопрос, где именно. Вы и так понимаете.

— Вы очень откровенны.

— Я устал не быть откровенным. — Вихрев усмехнулся. — Вы знаете, я вам скажу одну вещь. Я верю в нашу систему, как жилец верит в дом. Он течёт, он скрипит, в нём нет лифта, кто-то наверху топит соседей. Но это дом, где живут мои дети. Если я начну сомневаться в стенах, на чём мне стоять?

— Это честная формула.

— Это единственная, которая у меня есть. — Он поднял стакан. — Давайте за то, чтобы стены стояли.

Они выпили. Хартвелл подумал: *он не лжёт. По крайней мере, сейчас*. И от этой мысли ему стало не легче, а хуже, потому что в профессии, где ложь была нормой, правда в устах противника выглядела опаснее любого обмана.

Подарок вручили у калитки.

Вихрев вынес его из дома в газетной бумаге: небольшая шкатулка, лаковая, чёрная, с красно-золотой росписью, изображавшей птицу-тройку на фоне зимнего леса. Палехская работа, настоящая, не фабричная. Крышка закрывалась на маленький крючок.

— Для вашей дочери, — сказал Вихрев. — Пусть хранит там свои секреты.

Хартвелл взял шкатулку. Она была лёгкая и холодная.

Отказаться было нельзя. Отказ означал бы подозрение, подозрение вело к разговору, разговор к тому, что кто-то из них скажет лишнее. Принять значило сделать то, чего от него, видимо, и ждали.

— Спасибо, — сказал он. — Она будет рада.

— Вы ей не говорите, откуда, — добавил Вихрев и тихо засмеялся. — Скажите, что на рынке купили.

На обратном пути, в машине, Хартвелл держал шкатулку на коленях, как держат живое существо, которое может укусить. Прохор Матвеевич вёл молча. Только раз спросил:

— Подарок?

— Да.

— Красивая вещь, — сказал водитель. — Настоящий Палех.

Он не взглянул на неё. Он просто знал, что это такое.

В посольстве шкатулку принесли в техническую комнату. Хартвелл ждал, пока офицер, ведавший такими вещами (его звали Эл, он был тихий, лысеющий человек с огромными ладонями), положит её на стол и выключит свет.

Шкатулку просветили рентгеном, потом прощупали металлоискателем, потом сняли лак с донышка, потом вскрыли крышку, потом аккуратно, миллиметр за миллиметром, разобрали на части. Два часа. Ничего.

— Чисто, — сказал Эл, когда включили свет.

— Точно?

— Точно настолько, насколько вообще бывает. — Он вытер руки о халат. — Не бывает «совсем чисто». Бывает «не нашли».

Хартвелл сел. Шкатулка лежала на столе, разложенная на детали, как труп после вскрытия.

— Расскажи про Печать, — попросил он.

Эл хмыкнул.

— Вы хотите, чтобы я рассказал вам историю, которую вы знаете.

— Я знаю версию, которую рассказывают новичкам. Мне нужна настоящая.

Эл помолчал. Потом повернулся на стуле.

— Август сорок пятого. Война только что кончилась. Группа юных пионеров приходит в резиденцию американского посла и дарит ему подарок. Резной герб Соединённых Штатов, ручная работа, красивый, тяжёлый, из ценного дерева. Посол Гарриман растроган. Герб вешают в кабинете. Он висит там семь лет.

Эл наклонился вперёд.

— А в нём внутри, в углублении под клювом орла, находится резонатор. Простая вещица, без батарейки, без проводов, просто металлическая полость с мембраной. Если на неё направить микроволновый луч нужной частоты, она начинает работать как микрофон: мембрана вибрирует от звуков в комнате и модулирует отражённый сигнал. Ловишь его снаружи, декодируешь. И слышишь всё, что говорят в кабинете посла. Никакого питания, никакой утечки тепла, никакого радиообмена, пока ты сам не включил луч. Изобрёл его Лев Термен, тот самый, который сделал терменвокс. Его потом несколько лет держали в «шарашке».

— И нашли его только в пятьдесят втором.

— Англичанин нашёл. Радист поймал на приёмнике разговор посла. Начали искать, нашли. Через восемь лет, в шестидесятом, американцы показали эту штуку в ООН, когда Советы заявили, что мы за ними шпионим. Помните, был тот сбитый самолёт? — Эл покачал головой. — Красивая вещь. Единственное, что в ней неприятно, — это принцип. Её не нужно было обслуживать. Она просто *ждала*.

Хартвелл молчал.

— Вы думаете о луче, — сказал Эл.

— Я думаю, что последние двадцать пять лет они облучают здание.

— И что они излучают, мы до сих пор не знаем наверняка, — кивнул Эл. — Может, хотели активировать что-то внутри. Может, просто проверяли, что мы делаем в ответ. Лет пять назад это выглядело как наказание. Сейчас похоже на привычку.

— Вы считаете, что шкатулка — это тоже...

— Я считаю, что ничего не нашёл, — сказал Эл. — Это всё, что я могу утверждать. Остальное — ваше ремесло.

Он включил верхний свет. Лампа загудела.

— Но если хотите моё мнение... — Эл помедлил. — Такую вещь, как «Печать», не повторяют. Её уже знают. Вихрев, или кто там стоит за ним, понимает, что мы прощупаем любой подарок. Значит, шкатулка нарочно чистая. Цель в другом. Чтобы вы приняли подарок и потом приняли следующий.

Хартвелл взял в руки крышку: лёгкую, расписанную. Птица-тройка летела по зимнему лесу, мчалась куда-то вдаль.

Он подумал о дочери. Подарить ей эту шкатулку он не мог. Он знал это с того момента, как взял её у калитки. Но и выбросить тоже: тогда пропала бы последняя ниточка, связывающая его с человеком, который, возможно, знал о нём что-то, чего он сам о себе не знал.

Шкатулку он положил в сейф.

Решение о встрече пришло в декабре.

Срок назначили сразу, и в этом было что-то смешное и грустное одновременно: первый день нового года. В Советском Союзе новый год отмечали шумно, с ёлками и шампанским, и к утру первого января город вымирал. Никто не работал, никто не выходил на улицу без нужды, ночные гуляки спали, дворники отсыпались, милиция была вялой и добродушной. Контрразведчики тоже были людьми. Они тоже праздновали.

Шеф рассчитывал на это. Он говорил, что КГБ не меняет режим, но люди в нём меняют настроение, и в такие дни наружка работает хуже обычного.

— Вы будете участвовать? — спросил он Хартвелла в конце ноября.

— Как?

— Так же, как в феврале. Прогулка по городу. Только теперь я говорю вам это заранее.

Хартвелл ждал этого вопроса. Он думал над ним неделями.

— Я согласен, — сказал он. — Но с условием.

— С каким?

— Вы будете говорить мне всё. Не в деталях, но по существу. Я не хочу выходить на улицу, не зная, зачем.

Шеф кивнул.

— Принято.

— И ещё. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы кто-нибудь написал моей дочери. Не от станции. От человека.

— Это не обсуждается, — сказал шеф. — Это само собой.

— Всё, что «само собой», хуже того, что записано.

Шеф посмотрел на него с лёгким удивлением, а потом, не говоря ни слова, достал блокнот, написал что-то, вырвал листок и протянул ему. На листке стоял адрес, фамилия, номер телефона и две строчки: *«Если понадобится. Д. Х.»*.

— Это моя жена, — сказал шеф. — В Вашингтоне. Она знает, что делать.

Хартвелл взял листок и положил в карман.

Утро первого января 1979 года выдалось ясным и страшно холодным. Термометр на посольской стене показывал минус двадцать пять. Снег скрипел под ногами, как битое стекло. Воздух был таким плотным, что казалось, его можно разламывать руками.

Хартвелл вышел из дома в одиннадцать. Шёл медленно, без цели, осматривая витрины закрытых магазинов, останавливаясь у ёлочных базаров, где торговцы ещё не разошлись и продавали остатки: кривые, облетевшие, никому не нужные. Наружка шла за ним. Он насчитал троих. Один был в толстом тулупе, второй в чёрной цигейковой шапке, третий просто в чём-то сером. Они не скрывались. Они слишком замёрзли для этого.

Он знал, что в это время, примерно в нескольких километрах от него, другой человек делает то же самое, только ему нельзя было идти медленно. Тот другой человек, офицер, которого называли «Николаем», проверялся по тщательно рассчитанному маршруту, меняя транспорт, проходя через подъезды, возвращаясь по своим следам. Он делал это уже два часа.

Хартвелл дошёл до Патриарших. Пруды были скованы льдом, на льду кто-то расчистил каток, и несколько детей в тулупчиках катались, держась за руки. Он остановился у ограды и смотрел. Ему казалось, что дети двигаются очень медленно, как будто в густом воздухе.

В двенадцать сорок три где-то далеко «Николай» набрал номер.

Хартвелл не мог этого знать. Но позже, когда ему рассказали, как это было, он понял, что в ту минуту, пока он стоял у катка и смотрел на детей, в другой точке города человек поднимал трубку и слышал голос из ниоткуда.

Условный сигнал. Ничего больше.

Дальше было сорок минут.

Они встретились на ходу, на заснеженной улице. Сорок минут в бешеный мороз, без остановок, без разговоров на месте, без чаепития, без тёплого помещения. Один шёл рядом с другим, как будто просто попутчики. Говорили по-русски. Тот, кого называли Заявителем, вёл себя спокойно, почти деловито. Он принёс то, что обещал: свёртки, бумаги, плотно упакованные тетради.

Всё это Хартвелл увидел позже, ночью, когда помогал разбирать материалы.

Это были девяносто одна страница.

Они лежали на столе в станционной комнате, под яркой лампой, разложенные стопками. Большие листы миллиметровой бумаги, исписанные мелким, чёрным, абсолютно ровным почерком. Чертежи. Формулы. Графики. Рисунки осциллограмм, нарисованные от руки с такой тщательностью, что линия каждого сигнала казалась начертанной рейсфедером. Технические характеристики, таблицы, ссылки на документы, цитаты из них, номера приказов, названия институтов. Всё это было сделано человеком, который привык делать аккуратно, потому что от аккуратности зависела жизнь.

Хартвелл не понимал ни слова из того, что видел. Но он понимал, что это такое.

Он взял в руки один лист и стал рассматривать. По краю шла тонкая линия, проведённая линейкой. Внизу, мелко, стояла пометка: *лист 17*. Он провёл пальцем по бумаге. Она была слегка шероховатой, плотной, дорогой. Бумага, которую в Советском Союзе берегли.

Он подумал о том, сколько ночей понадобилось этому человеку. Не днём, не на работе, не там, где можно было бы заметить. Дома. На кухне. Или в той комнате, где спал сын. Писал от руки, чтобы никто не мог проследить машинку. Рисовал, перепроверял, переписывал заново, если сбивалась линия. И всё это время ходил на работу, возвращался, ужинал, смотрел телевизор, слушал жену.

— Дэн, — сказал Бек. Он стоял в дверях. — Ты как?

— Нормально.

— Они говорят, что это... Я не знаю, как сказать.

— Что?

— Что мы не ожидали ничего подобного.

Хартвелл кивнул. Положил лист на место.

— Я знаю.

— Они довольны, — сказал Бек. — Центр. Телеграмма пришла час назад. Одно слово: «Отлично».

— Одно слово, — повторил Хартвелл.

Бек постоял ещё и вышел. Хартвелл остался один.

Он подумал: *теперь они будут просить больше*. Не потому что жадные. Потому что материал настолько ценен, что любая пауза, любое «хватит» будут стоить дороже, чем риск. И человек, который это понимает, согласится. Потому что для него отказ был бы поражением.

Он вспомнил, что в записке, которую передали ему в первые дни, было слово: *отчаяние*. Но сейчас, глядя на эти листы, он видел нечто другое. Не отчаяние. Решимость. Такую, какую нельзя объяснить ни деньгами, ни идеологией, ни злостью.

Что это было? Он не знал. И, может быть, никогда не узнает.

Через неделю, вечером, в дверь квартиры Хартвелла постучали.

Он открыл. На пороге стоял сосед, молодой французский дипломат по фамилии Мерсье. Он держал в руках почту, которую по ошибке принесли ему, и неловко улыбался.

— Это ваше, — сказал он. — Письмо.

Хартвелл взял конверт. На нём был штамп международной почты. Обратный адрес: Арлингтон, штат Виргиния. Почерк Ли.

Он вскрыл конверт прямо в коридоре, пока Мерсье что-то говорил о погоде. Внутри был один лист.

Дэн. Кэти спрашивает, почему ты не писал ей на Новый год. Она не жалуется, просто спрашивает. Я не знаю, что ей отвечать. Если ты можешь написать ей, напиши. Просто несколько строк. Она хранит все твои письма в шкатулке, которую ты ей прислал в прошлом году. Ли.

Хартвелл прочёл письмо дважды. Потом аккуратно сложил его и убрал в карман.

— Что-нибудь не так? — спросил Мерсье.

— Нет, — сказал Хартвелл. — Всё в порядке. Просто семейное.

Он закрыл дверь.

Некоторое время он стоял в темноте коридора, прислонившись спиной к стене. Потом прошёл в комнату, зажёг лампу, достал из ящика письменного стола листок бумаги и ручку.

Он написал: *«Дорогая Кэти».*

Остановился.

Что он мог ей написать? Что работает с цифрами? Что в Москве идёт снег? Что человек, о котором он никому не может рассказать, в эту минуту, возможно, сидит где-то на кухне и рисует линии на миллиметровке? Что он сам не знает, на чьей стороне сегодня честнее быть: на стороне тех, кто идёт на риск, или тех, кто его предотвращает?

Он написал: *«У нас идёт снег. Я думаю о тебе».*

Отложил ручку. Потом взял её снова и добавил: *«Береги шкатулку».*

Глава 6. Смета значимости

Москва, февраль 1979 – февраль 1980

Допуск Хартвеллу оформили в феврале, без церемоний, в комнате без окон, за пять минут. Шеф положил перед ним лист, где значилось одно слово, и сказал: «Читайте».

Слово было «Сфера».

Остальное он знал уже и без листа. Как человек, читавший шесть записок и три десятка других документов, он давно сложил в уме портрет, и ему казалось, что имя, адрес и должность ничего не прибавляют. Он ошибался. Знание имени оказалось тяжелее знания сути. Пока человек был «автором записок», он был загадкой, с которой можно было работать как с задачей. Когда у него появилась фамилия, возраст, жена и сын, с ним нельзя было работать иначе, как с человеком.

— Вы допущены как резервный офицер, — сказал шеф. — Это значит, что в случае нужды, если основные не смогут оторваться от слежки, вы выйдете на встречу.

— Вы говорили иначе.

— Я передумал.

— Передумали?

— Вернее, передумал Вашингтон. Нужно, чтобы у системы было не меньше четырёх запасных. Один человек не может каждый раз быть чистым. — Шеф помолчал. — Но вас я на улицу не выпущу. Вы будете читать, оценивать и быть тем, за кем ходят. Я же обещал говорить вам всё. Вот я говорю.

Хартвелл кивнул.

— Спасибо.

— Не за что, — сказал шеф. — Это не любезность. Это расчёт.

Он посмотрел на Хартвелла с той усталостью, которую тот давно научился узнавать.

— Скажу прямо. Я не знаю, правильно ли это, держать вас внутри и снаружи одновременно. Но вы единственный из нас, с кем у них уже налажен контакт. Если я вас уберу, они подберут другого. Если оставлю, они продолжат ходить за вами. Во втором случае я хотя бы знаю, куда они смотрят.

План связи принесли в конце месяца. Хартвелл прочёл его вечером, при настольной лампе, и ему показалось, что он читает не операционный документ, а расписание церковных служб.

Раз в месяц, в день, число которого совпадало с номером месяца (первого января, второго февраля, третьего марта), с шести до восьми вечера Сфера должен был находиться у телефона. Ему могли позвонить по «неправильному номеру». Имя, которое назовёт звонящий, определяло действие: «Ольга», «Анна» или «Нина» означало один из трёх условных тайников, а «Валерий» личную встречу через час в заранее оговорённом месте. Раз в месяц, в день, равный номеру месяца плюс пятнадцать (восемнадцатого марта, девятнадцатого апреля, двадцатого мая), Сфера выходил к одному из нескольких условных мест, ждал пять минут и уходил. Если на встречу приходил незнакомый офицер, существовали пароль и отзыв.

Хартвелл прочёл всё это трижды и подумал: это не операция. Это литургия. Кто-то в Вашингтоне придумал обряд, в котором каждое действие должно совершаться ровно так и ровно тогда, чтобы в случае обвала не осталось ни одной случайности.

Он вспомнил слова одного старого сотрудника: *агент живёт не на деньги и не на идеологию. Он живёт на расписание*. Расписание делает вещи невероятные обыденными. Человек, который идёт в магазин в восемнадцать-ноль-ноль, никому не кажется подозрительным. Подозрительным становится тот, кто в магазин не идёт.

В феврале в тайник у дома Сфера лёг пакет в грязной варежке: камера размером со спичечный коробок, экспонометр, инструкция. Хартвелл не присутствовал. Но он знал этот ритуал: проверка маршрута, выход, закладка, возвращение. И знал, что от варежки до первого снимка пройдёт не меньше трёх недель.

Второй личный контакт состоялся в апреле. Пятнадцать минут на ходу, пять катушек плёнки и свыше пятидесяти страниц рукописных записок. Среди них была та, которую позже Хартвелл читал в станции до рассвета.

Это было деловое предложение. Именно так: не просьба, не жалоба, не исповедь, а предложение. Автор писал, что готов передавать информацию в течение двенадцати лет, и разделил этот срок на семь этапов. За каждый этап он хотел получить фиксированную сумму. Первый этап, по его мнению, уже завершён, потому что январская передача, плюс всё, что было до неё, покрывали первую часть плана. Он ставил в упрёк американцам, что полтора года, потраченные на попытки пробить стену недоверия, остались без компенсации, и называл цифры в десятках тысяч рублей.

Хартвелл читал это, как читают любой контракт: по вертикали, глазами юриста. Когда он дошёл до конца, ему стало неловко, и он не сразу понял почему. Потом понял. Он ожидал от этого человека исповеди. А получил смету.

— Он просит денег, — сказал Бек.

— Он просит оценки, — поправил Хартвелл.

— Разве это не одно и то же?

— Нет. Деньги можно потратить. Оценку нет.

В примечаниях, уже ближе к концу, автор объяснял свою мысль отдельно. Он писал, что не принял бы предложения ни за какую сумму от китайского посольства, например. Спрашивал самого себя: может быть, Америка заворожила его? И отвечал: нет, на это у него не хватило бы ни фантазии, ни романтизма. Но по некоторым признакам он пришёл к выводу, что предпочёл бы жить там. Он не альтруист. Вознаграждение для него это не только деньги. Это, в ещё большей степени, оценка важности его работы.

Хартвелл дочитал и отложил лист.

Оценка важности. В этой профессии давно знали, что платят не за информацию, а за признание: человек, который приносит документы, хочет, чтобы кто-то на другом конце понимал, чего ему это стоит. Деньги были только способом выразить понимание в цифрах. Он вспомнил Вихрева и поймал себя на неприятной симметрии. Вихрев тоже не платил. Он слушал, наклонив голову, и выражал интерес. И в обоих случаях товаром было не то, что называлось товаром.

Шеф и Вашингтон торговались до осени. Одни не хотели давать человеку слишком много наличных, опасаясь, что он начнёт швырять деньги и тем самым выдаст себя. Другие понимали: отказ в деньгах будет воспринят как отказ в признании. Сам автор уверял, что покупки у него будут разумными. Он мог бы купить машину и дорогую дачу, но не хочет ни того, ни другого. Только когда сыну исполнится пятнадцать или шестнадцать, возможно, машину он всё-таки возьмёт.

Хартвелл прочёл эту строку дважды. *Когда сыну исполнится пятнадцать.* Человек планировал жизнь на двенадцать лет вперёд. Человек, который, как все они знали, мог не дожить до весны.

В мае пришли две новости, не связанные друг с другом.

Первая пришла по закрытому каналу: в Вашингтоне состоялся трёхдневный семинар для потребителей информации Сферы. Присутствовали аналитики из гражданских и военных ведомств. Шеф зачитал сообщение вслух, и в комнате наступила тишина. Военные заявили, что полученные данные сэкономили им до пяти лет разработок.

— Пять лет, — сказал Бек.

— До пяти, — поправил шеф.

— Чьих?

— Наших. Не их.

Хартвелл подумал: *и чьих это будет стоить*. Но вслух не сказал. Он знал, что любое число, названное в таком контексте, становится аргументом за продолжение, и никто в Вашингтоне не скажет: «Это слишком хорошо, остановимся». Ценность информации создавала давление на осторожность. Чем лучше был источник, тем настойчивее требовали новых передач, тем выше становился риск. Это был закон. Он не имел решения, только равновесие.

Вторая новость была совсем другой.

В последних числах мая из посольства сообщили, что микроволновое облучение здания прекратилось. Без письма, без дипломатической ноты, без извинений. Просто в один из дней приборы показали ноль.

Эл вынес на крышу свой прибор, и они с Хартвеллом стояли на западной стороне, над Новинским бульваром, на ветру, пахнущем тополями и бензином. Стрелка не дрожала.

— Двадцать шесть лет, — сказал Эл.

— Почему?

— Если бы я знал. — Эл убрал прибор в футляр. — Версий две. Либо им больше не нужна эта штука. Либо они получили то, что хотели.

— Что?

— Не знаю. Но если они двадцать шесть лет облучали здание и вдруг перестали, значит, что-то в их расчёте изменилось. Или в нашем. — Он пожал плечами. — Раньше я думал, что понимаю этот город. Теперь не уверен.

Хартвелл смотрел на дома по другую сторону бульвара. Серые, прямоугольные, равнодушные.

Он не стал говорить, что подумал сразу. Что в Москве даже прекращение враждебности выглядело как ход.

В июне советская камера уступила место японской.

Хартвелл узнал об этом из доклада о проявленных плёнках. Мини-камера, переданная в феврале, оказалась капризной. Ей не хватало света. Она требовала особой точности в положении руки. Лёгкий щелчок затвора слышался за стеной. Результат: кадры расплывались, как лица в плохом сне.

Сфера написал об этом сам, подробно и без жалоб: чтобы поймать нужную высоту для съёмки, ему приходилось подкладывать книги стопкой на стол, потому что камеру нужно было держать на определённом расстоянии от документа. Он предлагал заменить миниатюру обычным тридцатипятимиллиметровым аппаратом.

Хартвелл прочёл это и представил себе кухню. Девятый этаж. Обеденный час: жена на работе, сын в школе. На столе стопка книг, на ней аппарат, под ним лист из институтского сейфа. Человек пятидесяти двух лет, в рубашке с закатанными рукавами, склонившийся над столом, как над чертёжной доской. Щёлк. Страница. Щёлк. Страница. Он должен успеть вернуть всё до конца обеденного перерыва.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.